

The background of the cover is a dark, atmospheric painting of a forest. In the distance, a white church with a blue roof and a steeple sits atop a hill. A horse-drawn carriage is visible on a path leading towards the church. The overall color palette is muted, with browns, greys, and a touch of yellow from the trees on the right.

В. ВОИНИЧЕВСКИЙ

БОЛЬШАЯ
БАРЫНЯ

Василий Александрович Вонлярлярский

Ночь на 28-е сентября

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.

Повесть впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» (1852, № 4–5).

Интерес Вонлярлярского к роли легенд и преданий в жизни общества, попытка вскрыть рациональную их природу не были замечены критиками, порицавшими чрезмерную запутанность интриги и обилие случайностей, из которых складывается сюжет «Ночи на 28-е сентября».

Содержание

Часть первая	0005
ПИСЬМО ПЕРВОЕ	0005
ПИСЬМО ВТОРОЕ	0007
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ	0016
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ	0026
ПИСЬМО ПЯТОЕ	0047
ПИСЬМО ШЕСТОЕ	0067
Часть вторая и последняя	0127
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ	0127
ПИСЬМО ВОСЬМОЕ	0171
ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ	0204
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ	0209
ПРИМЕЧАНИЯ	0224

Василий Вонлярлярский

Ночь на 28-е сентября

Часть первая

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Графиня Наталья С. к Софье Р.

Ужасно, Софья! Представить себе не могу, мой друг что наконец наступило время переписки, что вздохи мои ты услышишь только через неделю, что на жалобы мои ты будешь отвечать через две, а увидимся мы бог весть когда! И эту тоску, и это страдание доктора величают отдохновением – какая страшная мистификация! Вообрази себе, что мы живем в превысоких стенах, обтянутых не лионской тканью, а паутиною, что с закопченных потолков смотрят на нас какие-то опухлые богини, со стен – престранные предки, из-за дверей выглядывают сотни старых слуг, а из окон – черемуха. Отец в восторге от всего этого, а я чуть не плачу... И всем этим придется наслаждаться целые шесть месяцев! C'est en devenir folle[1] право! Кстати, скажи моей доброй Miss Thon, чтобы она ради бога не высылала мне ни одной вещицы из моего

кабинета, ни одной шляпки, ни одного платья, а прислала бы резиновый колпак, галоши и, если можно, маек от пчел и комаров; вот все, что необходимо мне в это несносной пустыне. Мы дотащились сюда в субботу вечером. В воскресенье отец зазвал прямо из церкви легион соседей и соседок. Что за люди, *ma chère!*[2] Ты не поверишь: на девицах перчатки с отрубленными пальцам? В девять часов я уснула от тоски и усталости. Отца начинаю не любить: он смеется и дразнит меня как ребенка. В спальню влетела летучая мышь; в камине всю ночь кричал сверчок; я спала дурно, проснулась презлая, вышла в сад. Елки там обстрижены *a la mal content*;^[3] старые бабi начали обнимать и целовать меня. Потом привели мою верховую лошадь; я обрадовалась ей до слез. Папа счастливее, чем когда-нибудь; еще неделя – и я чувствую, что мы пресерьезно поссоримся. Какой нестерпимый эгоизм! заставить меня переселиться с Елагина в Скорлупское... милое названье, не правда ли? – и переменить невозможно. За ужином нам подали карасей со сметаной, *s'esttris bon, ma chère*,^[4] папа ел за четверых;

он делается mauvais genre;[5] того и смотрю, что наденет полевик; даже манеры его портятся, а картуз... какой картуз! нет, я украду его и сожгу непременно. Мне грустно. Писать долее не в силах; я рассержена, я сделаю ему сцену... этому картузу. Прощай, Софья, и пожалей меня!

Увидишь Надину, скажи, что мы блаженствуем. Хорошо блаженство...

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Не могла выдержать, чтоб не написать; завтра почта и посылают в город. Вообрази себе, мой друг, что городом называют здесь грязную улицу, обставленную маленькими кривыми домами, из досок, кажется, цветом похожих на шафран и земляные груши; в лавках рядом с пастилою лежит желтое мыло и сальные свечи; у двери вяжет чулок безобразная баба, и перед ней – о ужас! прегрязные сельди в корыте, и с ними пустые помадные банки. Папа требует, чтобы я была у всех с визитом; для этого я имела глупость надеть мое любимое платье гласе, и не знаю где, но, вероятно, прежде меня, у кого-нибудь на диване

сидели птицы: прости, платье! Я объявила отцу, что больше не поеду и предпочитаю заключиться в нашем Скорлупском. Впрочем, это Скорлупское очень недурно; природа наделила его некоторыми прелестями, которые, при другой обстановке, произвели б большой эффект. Во-первых, в нескольких шагах от балкона течет Днепр. В первые дни погода была ясная, тихая, и я было его не заметила, но вчера из-за рощи поднялась туча и скоро обложила горизонт; сначала дунул ветер, и верхи деревьев зашевелились, но туча поднялась еще выше, солнце скрылось, ветер сделался сильнее, и бор заревел так громко, что мне стало страшно; когда же ветер превратился в вихрь, а вековые сосны зашатались, я невольно взглянула по направлению реки, и тогда только, та шиге, внутренне созналась, что, не сделав визита соседу, поступила очень невежливо. И Днепр имел полное право сердиться: он был истинно прекрасен; смотря на гнев этот с трепетом, я была от него в восхищении. Нева очаровательна; волны ее и светлы и прозрачны; в самую бурю все движения ее как-то плавны, грациозны; не внушает она

ни боязни, ни страха; катясь по роскошной набережной, мимо великолепных дворцов или прелестных дач, мы едва замечаем волнение Невы; но не таков Днепр – этот древний исторический Днепр! За несколько минут до бури я едва заметила его в зеленой чаще ив: тогда он, как вежливый старик, обходил осторожно каждый кустик, каждую травку, казалось, уклонялся от всякого столкновения голубой струи своей с песчаным берегом... и тот же Днепр, при первом взрыве вихря, при первом стоне бури мгновенно вырос, поседел, и с ужасным ревом стал раздирать землю!.. Как ничтожны показались тогда неприступные скалы, еще недавно смотревшие в него с гордостью! как низко поклонился ему исполинский лес, а меня, конечно, он и не заметил! В девятом часу звон колокола (у нас звонят а propos de tout[6]), позвал меня к чаю.

Весь вечер я с отцом просидела вдвоем, в его кабинете; папа читал мне до самого ужина фамильные легенды; время прошло скоро: и страшно и приятно было! Предания эти так оригинально любопытны, что я не могу не пе-

редать их тебе, мой друг, во всей подробности. Вычитали мы их в престаринной книге, переплетенной в позолоченную кожу с медными украшениями, а книгу эту отец нашел в библиотеке своего прадеда, прежнего владельца Скорлупского; на портрете прадед кос, но, может быть, в натуре этого не было. Слушай же. Ты, конечно, знаешь, та сниге, что губерния наша в древние времена неоднократно переходила то к России, то к Польше и, находясь на границе, служила театром беспрерывных войн; нет уголка земли, говорит папа, на котором не находили б человеческих костей или оружия; рассказам о кладах нет конца – преинтересная страна! Фамилия же графов С. была некогда польская, а легенда относится к той эпохе, когда первый предок наш принял греческую веру. Вспомнить не могу – так страшно это предание! Вот видишь ли, мой друг, в тех самых стенах, где мы живем теперь, жил некогда пресердитый и пребогатый пан; границы владений его заходили далеко за Днепр; леса были дремучие; в них содержал он, под видом пограничной стражи, просто разбойников и, пользуясь вечными

смутами, творил такие злодеяния, которым в наше время не решаешься верить. Например, в тех самых погребах, где у нас хранятся яблоки, раздавались по ночам жалобные стоны заключенных; на дворе производились казни, пытки, словом, всякого рода ужасы. Большую часть жертв его составляли жидаы; в глазах пана жид и виноватый были слова однозначные, а ограбить жида, замучить, уничтожить – ровно ничего не значило. Пан смеялся, глядя на слезы жидов, и приходил в бешенство, когда красавица-жена его пыталась смягчить участь страждущих; он даже, вообрази себе, та шиге! бивал ее иногда в присутствии пировавших с ним гостей, И скоро вогнал ее в могилу. Единственное существо, с которым он обходился ласково, был сын, прекрасный молодой человек, воспитанный в Варшаве, где воспитывалась вся блестящая молодежь того времени. Молодой человек был очень красив, ловок, статен и сводил с ума всех девушек в окрестности; он увозил некоторых из них, прятал в лесах и потом снова отсылал к родителям, которые, боясь пана, молчали и не смели жаловаться. Смеж-

но с его землями находилось владение небогатого, но известного своими заслугами русского боярина; у боярина было двое детей: сын, служивший в московских дружинах, и дочь, молодая девушка, красоты необыкновенной. Старик-отец страстно любил обоих и, разлучась с сыном, хранил дочь, как единственное утешение, как сокровище, в пожертвовании которым отечество не нуждалось. Весть о чрезмерной красоте Ирины дошла до слуха молодого человека, который поклялся употребить все, чтобы овладеть ею. Так как отец был верным помощником во всех постыдных делах его, то он, без сомнения, прибегнул бы к его пособию и открытою силою мог вырвать дочь из рук отца; но такой поступок мог обратить на него внимание русского правительства, и пан решился ожидать благоприятнейшего случая, который не замедлил представиться. Польский королевич Владислав признан был в Москве царем русским, и в то же время Сигизмунд осадил Смоленск. Поляки торжествовали. Ты понимаешь, мой друг, что я касаюсь истории вскользь, а потому и скажу тебе только, что различными про-

исками прадед наш успел оклеветать соседа своего, боярина, и получить от короля Сигизмунда полномочие задержать боярина и представить его на суд поляков. Защищаться против вооруженной силы было невозможно, и боярина не только взяли, но и умертвили, будто бы в схватке; дочь его между тем успела скрыться. На след ее напущена была целая стая собак, приученных паном к подобным розыскам; действиями ее управлял сам молодой человек. В глухую осеннюю полночь озлобленные животные достигли в лесной чаще потаенного входа никому до того не известной пещеры и с страшным воем принялись рыть землю; подскакав к пещере, которая должна была скрывать несчастную девушку, молодой человек соскочил с лошади, отыскал отверстие, едва прикрытое наскоро придвинутым камнем, выхватил меч и стал отодвигать камень, который уступил силе; но вместо ожидаемой жертвы ему предстал какой-то пустынный; он осенил его крестным знаменем и именем бога заклинал не идти далее. Удар меча был ответом на эти слова. Обогранный кровью, пустынный поднял руку,

молча указал на убийцу, и в тот же миг многочисленная стая собак с бешенством бросилась на своего повелителя. Терзаемый со всех сторон молодой человек огласил воздух таким адским хохотом, что вся окрестность дрогнула; звери завыли, а в соседних селах колокола сами собою загудели протяжно и заунывно. Что случилось с боярской дочерью и с пустынником – неизвестно; но легенда гласит, что ровно через год, в полночь, дремучий лес на огромное расстояние огласился тем же смехом, и в продолжение нескольких минут вторил ему и рев собак, и вой зверей, и заунывный голос колоколов. Старый пан крепко задумался и стал молиться; еще прошел год – то же явление. Отец погибшего сына на месте чудного происшествия заложил обитель, принял православную веру и постригся. Ближайший наследник вступил во владение всем богатством панским, а обитель существует и теперь. Вот тебе, та сшиге, и легенда; она страшна, но еще страшнее то, что все жители Скорлупского утверждают (чему хоть и страшно, а хочется верить), будто бы двадцать восьмого сентября, ровно в полночь, да-

же из нашего древнего дома явственно слышен и хохот, и лай, и вой, и звон. Я спрашивала у отца, верит ли он этим рассказням, и ожидала обыкновенной его улыбки, но, к удивлению моему, он подумал, пожал плечами и не отвечал ни слова.

Как тебе это нравится? Что же касается до меня, то я положила у самой постели своей двух горничных... Прощай покуда, Sophie, и напиши, ради дружбы нашей, каков был бал у княгини Б... и кто больше всех произвел фурор. Бог мой, какая тоска у нас!.. А Днепр очень хорош!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Нет, не пиши мне таких писем, друг мой, Sophie! Когда я читаю их, настоящая жизнь моя становится еще несноснее. Ты в Павловске блаженствуешь, а я, бедная: я!.. И еще целые пять месяцев подобных! И все это для здоровья, когда можно умереть с тоски! Ты говоришь, что какой-то Поль Старославский собирается приехать в наше соседство; но кто же этот несчастный? и может ли он быть порядочным человеком, если собирается променять Петербург на нашу глушь? Вероятно, больной; впрочем, по описанию твоему я заключила, что будущий сосед наш не гвардеец — плохое утешение! Папа желает свозить меня к одной из дальних его родственниц; там ярмарка и, кажется, домашний спектакль. О первой я не имею никакого понятия; последний воображаю. Мы едем на днях. Единственным рассеянием нашим во все это время был здешний исправник, человек лет сорока, рябой, с золотой цепью на шее. Для того чтобы мне понравиться, он изобрел прескучную вещь: мы по целым сут-

кам удим рыбу, и исправник надевает своими руками живых червяков на крючки. Можешь представить, как противен мне его способ нравиться? Я, впрочем, убеждена, что со временем буду очень довольна теперешним пребыванием своим в деревне. В столице никто из нас не имеет никакого понятия о провинциальной жизни: этот мир так мало походит на наш обыкновенный, что, случайно увидев его, непростительно было бы не изучить нравов и обычаев этого неизвестного мира. Не думай, однако ж, чтоб однообразная, скучная для нас жизнь в деревне не имела своей поэзии, чтоб и в самом скромном крестьянском быту не было своих прелестей. Я еще не сроднилась с этой поэзией, не постигаю, не понимаю ее и прислушиваюсь иногда к отдаленному шуму воды, кваканью лягушек, заунывной песне прохожего, а главное – к пению соловья, не в клетке, не в тесном цветнике, но в темной, густой чаще бесконечной рощи. Признаюсь, тебе, *chère amie*[7] на сердце происходит у меня что-то чудное, что-то новое, одним словом, что-то такое, чего не ощущаем мы, даже танцуя редову... Возвращаюсь к Скорлуп-

скому. Чем больше знакомлюсь с ним, тем более мирюсь со своею новою жизнью, и повторяю, что, будь ты со мной, Sophie, да еще два-три человека поинтереснее, я согласилась бы прожить тут, пожалуй, целые пять месяцев. Доктор приказал мне вставать почти с солнцем, гулять много, обедать рано и рано ложиться. Знойный полдень скучен, но вечер иногда, право, очень мил. В одной из ближних деревень отыскалась моя кормилица, простая, но добрая женщина; она плакала, целуя меня; в первый визит принесла она мне курицу, которую я кормлю сама; во второй еще курицу; а третьего дня я отправилась к ней в гости пешком. С первого взгляда бедность и даже нищета кормилицы привели меня в отчаяние, я понять не могла, как можно довольствоваться двумя темными избами, в которых нет ни мебели, ни даже фаянсовой посуды; мне стыдно было расспрашивать ее о причинах подобных лишений, но, вообрази себе, кормилица не только не жаловалась на судьбу, а напротив, с гордостью стала хвастать своею роскошью, достатком и за каждым словом превозносила доброту папа. Три

часа просидела я у этой доброй женщины, осмотрела ее садик, не больше моего кабинета, ее огород, телят, птиц и внучат и все хозяйство; оказалось, что вообще крестьяне наши пресчастливейший народ, и, в доказательство этой истины, кормилица преважно объявила мне, что у каждого мужичка по две лошади кругом на душу. Je n'y comprends rien,[8] но все равно... До дому провожали меня девушки всей деревни; они так громко пели, и пели такой вздор, что мне становилось за них совестно. Костюмы здешних девушек и в особенности их талии не изящны, это правда; но к ним привыкли, и потому бог с ними! Желая поблагодарить их за песни и сделанный мне прием, я хотела раздать девушкам несколько вещей, которых у меня так много, но папа уверил меня, что подобные подарки никогда не будут вполне оценены, и, взамен их, он приказал целую неделю не требовать девушек ни на какие работы. Весть эта возбудила всеобщий восторг; песни превратились в радостный крик, а к песням присоединились танцы, но такие танцы, которых описать нет никакой возможности. День кончили мы в обще-

стве сельского священника, также лица для меня нового. В нем нет ни педантизма, ни претензий; он должен быть очень добр. В десять часов мы разошлись. Не желая спать, я в первый раз прочла несколько страниц одного русского журнала; мне попался разбор книг: какие неприятные вещи говорят друг другу русские авторы. Впрочем, некоторые замечания очень остроумны, и я невольно смеялась.

На следующий день.

Ночью была страшная гроза; град разбил стекла, уничтожил цветы в саду и побил поля. Папа говорит, что какой-то хлеб пострадал и вся надежда на другой; tout cela est du grec pour moi, [9] а жаль мужичков! До самого утра дождь, ударяя в крышу, производил шум, который, мешаясь с отдаленными перекатами грома, расположил меня к самому сладкому сну. Солнце пышно осветило грустную картину всеобщего беспорядка... Деревья были местами поломаны, а дорожки изрыты глубокими промоинами. К полудню все просияло, и я отправилась взглянуть на Днепр: он был мутен и быстр; на желтоватом гребне своем нес он части строений, бревна и множество пред-

метов, которые рассмотреть было трудно. За всем этим гоняются смелые рыбаки в миниатюрных лодочках; при мне одна из них опрокинулась – и как бы ты думала, мой друг, что сделали другие рыбаки, смотря на своего падавшего в воду товарища? они расхохотались и не только не оказали ему никакой помощи, но, напротив, мешали несчастному выйти на берег; впрочем, смеялся больше всех сам утопавший, который брызгал на веселое общество водою и не потрудился даже переменить одежды. *Quels hommes!*[10] Папа уверяет, что прибрежные жители Днепра ныряют как утки; а ежели иногда тонут, то это только по собственному желанию, чего, впрочем, почти никогда не случается. Кстати о Днепре! В 1812-м году, когда уничтоженное французское войско бежало из России, маршал Ней с арьергардом два раза вынужден был пройти в окрестностях наших через реку и оставил на дне ее большую часть своих сокровищ. По словам некоторых стариков крестьян, помнящих событие, полные фуры золота и прочих драгоценностей следовали за маршалом, а кому неизвестно, в каком положении соединил-

ся он с главною армиею своею. Какое поприще для искателей богатств и сколько занимательных анекдотов! При свидании постараюсь передать тебе их, а покуда ограничусь описанием презабавного происшествия, которое хотя и не совершенно относится к Днепру и маршалу Нею, но довольно оригинально. На прошлой неделе мы с папа отправились под вечер на большую городскую дорогу пешком; воздух был свеж, комаров как-то меньше, а целью прогулки нашей была надежда встретить посланного за письмами и журналами. Не успели мы с версту отойти от села, как слышим в кустах прегромкое пение; такого рода обстоятельство не обратило бы на себя нашего внимания, но песня была не русская, а французский романс. «Кто бы мог быть этот певец?» – спросил с любопытством папа, и вдруг на опушке появился человек лет сорока, смуглый, невысокий ростом, но веселый и открытой наружности; на нем был какой-то мундир без пуговиц, соломенная шляпа и клетчатый плащ. «Salut, mon propriitaire!»[11] – воскликнул прохожий, проходя мимо отца, который, конечно, остановил его и засыпал

вопросами: откуда он, куда идет и зачем. Господин в фантастическом костюме был француз, шел в город Minsky, и за таким делом, которого, конечно, ты никогда не отгадаешь. Не хочу тебя мучить, та шиге, и потому скажу, что это за дело. Один из родственников чужеземца завещал ему, умирая, бочонок с червонцами, закопанный умершим другом умершего же родственника на большой дороге между городом Minsky и Moscowa; признаком того места, на котором находился бочонок, была кривая березка с нарезанным на ней крестом. Папа не мог удержаться от смеха, слушая наивный рассказ француза, который с большим трудом согласился наконец, что с двенадцатого по сорок пятый год березка могла и быть вырублена, и даже заменена другою, не говоря уже о бесчисленном количестве деревьев, находящихся на пути от Москвы до Minsky, что, вероятно, значило Минск. Разочарованный прохожий задумался ненадолго и, помолчав, вдруг сам же стал смеяться над собою, называя и родственника своего, и себя такими уморительными названиями, которых я и припомнить не могу. Папа, сжались

над ним, позвал его на несколько дней в Скорлупское, на что тот охотно согласился, и мы втроем возвратились с прогулки. Француза зовут Жозеф. На следующее утро мы нашли Жозефа в саду; вооружась лопатой, он взял под команду свою садовников и, никем не прощенный, распорядился всеми работами. Поздоровавшись со мною, как со старою знакомою, он объяснил мне свои проекты касательно будущих улучшений цветника и принялся копать землю, напевая что-то; с садовниками объяснялся он частью на своем наречии, частью пантомимой; как бы то ни было, но его понимали и слушались. Папа, любящий все веселое, не только не мешал Жозефу приводить в исполнение его проекты, но дал себе слово не напоминать даже ему, что он гость, не имеющий ни права, ни причины хлопотать так много в месте, ему совершенно чуждом. Наступил час обеда, и Жозеф попросил стакан молока и кусок хлеба; от всего прочего, предлагаемого ему, он решительно отказался, утверждая, что много есть – дурная привычка. Гость проработал в саду до поздней ночи, выпил второй стакан молока, пере-

ночевал в роще, под открытым небом, и с рассветом не только себя, но и всех товарищей своих снова вооружил лопатами. Скоро неделя, как Жозеф у нас, и папа уже до того привык к нему, что не может подумать равнодушно о возможности с ним разлучиться. По паспорту значится, что приятель наш эльзасский уроженец, ремеслом переплетчик. Нет в доме занятия, в котором он не брал бы участия; все слуги полюбили его; а я болтаю с ним по несколько часов сряду. Вот что значит, *с'иге Sophie*, [12] жить в деревне: всякий вздор занимает, всякое новое лицо – находка, которою дорожишь. Скорый ответ твой почту за доказательство, что письма мои тебе не надоели, и буду писать чаще.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Сию минуту вышла из экипажа, распечатала претолстый пакет писем, полученных с почты, отыскала твое, не прочла его, а проглотила с жадностью – и мне снова сгрустнулось. Охота тебе, друг мой, напоминать о всех прелестях петербургской жизни, и кому же? бедным обитателям М-ского уезда! Ты, Sophie, не великодушна, и месяц назад послание твое стоило бы мне много слез; но, увы! в эту минуту и ум, и чувства, и даже сердце мое охладели и притупились до того, что самая тоска не вырывает не только жалоб, но даже вздоха; я начала довольно благоразумно смотреть на светские удовольствия, и – о, проза! ценю здоровье выше радостей. Из слов твоих я заключила, что будущий сосед мой произвел на тебя впечатление, но скоро ли же прибудет к нам твой Старославский, и как не потрудиться было описать его подробнее? Объясняют ли что-нибудь слова: «очень мил, оригинален, интересен, и проч.» и к кому не приклеиваются подобные эпитеты? От нечего делать иногда я старалась представить себе этого

Старославского, придавала ему качества всех прочих моих знакомых – конечно, порядочных – и потом, окончив идеал, спрашивала сама у себя, мог ли бы он понравиться мне, и всегда внутренний голос отвечал мне: *нет!* В самом деле, допустим, что молодой человек этот хорош собою, следовательно, глаза его или черные или голубые, цвет лица бледный, волосы черные, каштановые, наконец, белокурые, нос римский или греческий. А ум? Какого рода может быть ум Старославского? Серьезен – тоска; насмешлив, зол – обыкновенно; ум гостиных – пуст; ну какой же, спрашиваю? Первая встреча ограничится, разумеется, поклоном, двумя или тремя французскими фразами, остроумными *reparties*[13] и описанием последних петербургских происшествий, балов, гуляний и прочее, и прочее. Но станет ли он ухаживать за мною? конечно, да! А нет – *опять тоска*. Допустим интересное, то есть первое, предположение; не слыхала ли я уж сто раз всего, что скажет мне влюбленный Старославский? не встречались ли его будущие взгляды с моими взглядами, и не исчислены ли вперед все подобные случаи

всеми романистами нашего времени? О боже! как ограничены у людей средства нравиться, и как дурно, как безрассудно они поступают, не запирая прекрасного пола нашего до минуты замужества в высоких, неприступных теремах! Но довольно об этом и в сторону философию. М-ский уезд, поверь мне, богаче новизною вашего блестящего света, и ты же, Sophie, просила меня продолжать мой журнал – я повинуюсь.

Дальняя родственница наша, Агафоклея Анастасьевна Грюковская, считается одной из самых богатых и почетных дам в околотке; она вдова, толстая, красная, с маленьким лбом в парике, с бородавкою на левой веке, с белою бровью над правым глазом и с перстнями на всех пальцах; четыре дочери, столько ж приживалок, тьма слуг, плохих картин – все это помещено в длинном деревянном строении с двумя крыльцами и бельведером. Когда мы подъезжали к деревне Грюковской, во всех местах, где мы останавливались, всюду говорили нам, что Агафоклея Анастасьевна ожидает нас с минуту на минуту. Сама же Агафоклея Анастасьевна уверяла нас в про-

тивном и показала вид удивления при нечаянном прибытии нашем. Такова деревенская политика! Ожидать – считается только что не унижением в М-ском уезде. Так называемые кузины мои могли бы быть не дурны; они с розовыми щеками; некоторые белокуры, другие брюнетки и все с прехорошенькими глазками и зубками (кроме старшей), но все так жеманны и аффектированы, что, право, смешно; для чего все это? не понимаю. Ни одного слова не скажут они просто, всякое движение головы должно быть заучено прежде, и восклицаниям нет конца... утомительно! Я спросила у старшей, пресентиментальной девицы, курит ли она. «Ах, как это можно!» – «Отчего ж?» – «Вы шутите, кузина; нет, наверное шутите: *mais c'est une horreur!*»[14] В ответ на эти возгласы я зажгла папироску. Меньшие, впрочем, которых в семействе считают детьми, несмотря на их двадцатидвух- и двадцатитрехлетний возраст, довольно милы, но вертлявы и наивны через меру; они краснеют по заказу и делают из невинности род службы; волосы их подстрижены и завиты в кружок; одеты они в короткие платица с

черными шнурами и коралловыми крестиками на шеях; они не ходят вовсе, а бегают. Старшая, Антонина, учение прочих, литературные споры решаются ею; слова ее – закон для семейства.

Одинаковыми с нею преимуществами пользуется в доме, и даже в околотке, единственный сын Агафоклеи Анастасьевны – тридцатилетний брюнет с лицом молочного цвета, прозванный Купером, иначе Куприяном Савичем; Купер, или Куприян, так замечателен в своем роде, что нельзя не сказать о нем несколько слов. Он, во-первых, влюблен в себя до безумия; разговаривая тихо, протяжно и отборными выражениями, кузен мой как бы прислушивается с наслаждением к собственному голосу и только что не рукоплещет ему. Несколько литературных произведений, прочитанных только в семействе, доставили Куперу титул поэта, и он носит этот титул с самодовольствием и гордостью; по мнению его и Антонины, он имеет необыкновенное сходство с Байроном, потому что, подобно знаменитому британскому лорду, хромот на одну ногу и очень редко стрижет свои ногти.

Молодой Грюковский долго не являлся на зов матери, по словам которой, на него, как на всех поэтов, нападает по временам ужасная хандра, и тогда никакие земные побуждения недоступны его творческой, превыспренней душе – вот слово в слово тирада Агафоклеи Анастасьевны – вероятно, выученная ею со слов сына. Заключение это я вывела из последующих бесед моих с Купером. Ты помнишь, Софья, что я одарена способностью представлять всех и что некоторых я представляю в совершенстве; к числу последних, по всей справедливости, принадлежит молодой родственник наш. Я не только переняла манеры и голос его, но выучилась говорить его фразами; таких фраз ты не услышишь, конечно, во всю свою жизнь, если не познакомишься с самим поэтом. Например, выхваляя мой взгляд, он выразился так: «Кузина! как чудно упоителен взор ваш и как гармонически потрясает он фибры сердца!» При этом Купер задвинул зрачки глаз своих за верхние веки, закрыл лоб рукою, покачал головой и, как бы в изнеможении, развалился в креслах. Слушая сына, Агафоклея Анастасьевна с торжествую-

щей улыбкой поглядывала на меня, а Антонина вздыхала и делала из глаз своих почти то же, что и брат. Вот тебе очерк семейства, которое в М-ском уезде ставят за образец comte il faut[15] и сколько, говорят, жертв сделано Куприяном и Антониною в Заднепровском крае.

К следующему дню приезда нашего готовился спектакль: в одной из кладовых ставили сцену, расписывали декорации, строили подмости для публики, и нередко до слуха нашего урывками долетала музыка и слова водевильных куплетов, повторяемых поочередно несколькими дочерьми Агафоклеи Анастасьевны несчетное число раз. Какие пьесы готовились к спектаклю – хранилось пока в тайне; гостей к представлению ожидали множество. Вечер прошел в угощениях и картах; за несколько минут до ужина приехало сначала одно из соседних семейств, вовсе не интересное, а потом какой-то старик с серебряною головою; тем и ограничилось общество наше, к видимому неудовольствию хозяев. Из-за стола встали гораздо за полночь, нисколько не желая спать, я предложила прогулку и

подала руку Куперу, который престранно посмотрел на меня, но поспешил надеть свои грязные перчатки и последовать за мною в сад. Ни одна из сестер не оказала желанья со-путствовать нам: одна боялась сырости, дру-гая змей, третья подвержена была вечным флюсам, и мы отправились вдвоем. Причины, представленные сестрами поэта, были одна другой неосновательнее, потому что воздух был едва прохладен, тумана и сырости замет-но не было, а змеи существовали только в во-ображении чувствительной Антонины. Моло-дой месяц то забегал за белые, прозрачные об-лака, то снова появлялся на темно-синем небе и как в бесконечном зеркале отражался в об-ширном и чистом пруде, вставленном в куд-реватую рамку лоз и тростника; изредка раз-давались всплески воды от падавших в нее с неба диких уток, и тогда полночный концерт прибрежных птиц умолкал на минуту и сно-ва начинался под мерный и звонкий стук чу-гунной доски сельского сторожа... Мы про-шли сад, плотину и стали взбираться на холм. По обеим сторонам дороги расстилались необозримые нивы, по которым местами от-

делялись, подобно островам, темные букеты деревьев; вдали, на горизонте, чернелся лес. Я почувствовала, что Купер едва заметно пожал мне руку, и посмотрела на него с удивлением; он кашлянул, поправил фуражку; мы пошли далее. «Вы преэксцентрическое существо, кузина!» – сказал мне поэт, вздыхая и пожимая мою руку. «С вами, cousin, пренеловко ходить», – отвечала я тем же тоном, освобождая руку свою. Он стал извиняться, уверял, что прелесть ночи и очарование общества моего перенесли его в лучший мир. Что до меня касается, то, предпочитая по крайней мере оставаться в этом мире неприкосновенною, я решительно пошла одна и старалась по возможности сохранить положенную мною дистанцию между поэтом и мною. С полчаса времени слышались мне выспренные фразы Купера, по счастью не требовавшие ответов, потому что они обращались к моему лицу не прямо, но рикошетами, по столкновению с эдемом, с миром миров, с затерянным в пространстве сонмом звезд, и проч. Между тем мы достигли вершины холма, и новый предмет привлек мое внимание:

вдали пред нами показалась беловатая точка, очень похожая на каменное здание, освещенное луною. «Что это там белеется?» – спросила я у Купера, указывая на точку. «Это село Вершнево, или Грустный Стан, кузина». – «Странное название!» – заметила я. «Последним названием своим, – продолжал поэт, – обязано оно какому-то несчастному случаю». – «А вы знаете этот случай?» – «Нет, не совсем; к тому же невозможно верить всякому вздору, хотя, впрочем, нельзя не согласиться, что и до настоящей минуты на всех потомках владельцев села лежит печать чего-то необыкновенного». – «Кому же принадлежит село в эту минуту?» – «Одному престранному существу, – отвечал небрежно поэт, – человеку, нестерпимому по своим интеллектуальным качествам, человеку, отрицающему всю поэзию, вложенную судьбою в души избранных, и не признающему даже самых осязательных, самых доступных преимуществ натур поэтических». – «Но кто же, наконец, этот чужак?» – воскликнула я с нетерпением. «Некто Старославский». Я невольно вскрикнула. «Он мне приятель», – прибавил

Купер. Мне досадна стала мысль, что Старославский, тот самый, про которого ты писала ко мне, – приятель моего родственника; известие это рассеяло в один миг все очарование; я даже не потрудилась дослушать подробного исчисления недостатков будущего соседа и возвратилась домой в самом неприятном расположении духа. Последняя надежда – видеть хотя одного интересного человека в этой пустыне – уничтожилась; это просто ужасно, это невыносимо! А как много обещали хорошего и название «Грустный Стан», и твои письма! Подходя к крыльцу, мы встретили в различных местах сада боязливых кузин, являвшихся перед нами как бы из-под земли; каждая из них расспрашивала меня иронически, далеко ли мы ходили, приятно ли провели время и не приключилось ли нам чего-нибудь необыкновенного; сначала я не могла понять, к чему клонились все эти вопросы, но двусмысленные слова Антонины навели меня на истинный путь: сестры поэта находили неприличною и опасною прогулку с их очаровательным братцем, а намеками выражалось желание дать мне почувствовать, что от про-

ницательных глаз их не ускользнуло убийственное впечатление, произведенное поэтом на мое сердце. Пожелав всему семейству покойной ночи, я просила указать мне мою комнату и, признаюсь, была неприятно удивлена, узнав, что комната, мне назначенная, была спальня четырех сестриц со всеми ее прозаическими принадлежностями. Несколько горничных бросилось на нас со всех сторон; напрасно старалась я уверить их, что довольствуюсь услугами собственной; они, не обращая внимания ни на просьбы мои, ни на увещания, только что не насильно раздевали меня и засыпали вопросами, не угодно ли того, не угодно ли другого; наконец ночной туалет кончился, и мы остались впятером, погруженные в пряминые перины, слишком мягкие, потому что толстый веревочный переплет кровати очень явственно напоминал о себе всему телу. Не помню, о чем толковали мы до глубокой ночи. Признаюсь тебе, chère amie, я всячески старалась навести разговор на Старославского, и старалась, верь мне, потому только, что он интересуется тобой. После долгих прелюдий мне удалось наконец назвать

Грустный Стан. «Ах, это имение Старославского!» – воскликнула одна из вечно прыгавших кузин. «А вы его знаете?» – спросила я равнодушно. «Немного. Он никуда не ездит, и, сколько Купер ни старался с ним сблизиться, никак в этом не успел». Наивный ответ блондинки успокоил меня несколько: поэт мог вообразить, что он дружен с Старославским; но начало было сделано, и продолжать разговор я могла, не возбуждав в проницательных девицах ни удивления, ни сомнения; та же блондинка сделала мне претёмный портрет твоего знакомого: по мнению ее, Старославский был или ограниченный, или дурно воспитанный молодой человек, предпочитающий охоту приятному обществу; он не знал лишений, выполнял все свои прихоти и кончит так, как кончает большая часть ему подобных... Его встречали кузины мои на окрестных дорогах, звали к себе, но он, забыв все приличия, сказал им однажды, что у них скучно, и с тех пор, разумеется, они отворачивали голову, завидя его вдали, и избегали с ним всяких встреч. Признаюсь тебе еще раз, друг мой, что справедливое негодование сестриц на Старо-

славского сделало мне гораздо больше удовольствия, чем дружба к нему поэта, и под влиянием последнего впечатления закрыла я глаза и открыла их от нестерпимого блеска солнца, достигшего половины своего обычного пути. Перестану писать, потому что устала, и папа зовет прогуливаться. Прощай, mon ange[16] до завтра. Пишу большею частью по утрам: память в это время рисует прошлое и ярче и живее.

На следующий день.

Я проснулась с головною болью: теснота, суэта и излишняя внимательность кузин измучили меня; но сегодня спектакль – и отказаться присутствовать при нем, даже под предлогом смерти, почли бы за спесь; делать нечего, в 10 часов я вышла в гостиную. В комнатах душно; солнце жжет; ни малейшего колебания в воздухе. Мне предложили идти гулять. Купер согнул руку и поднес ее мне с одною из тех тирад, которые я слышала накануне. Отказаться от прогулки было невозможно: она имела целью удалить все общество из дома; нужно было перенести стулья и кресла в театр или кладовую. К обеду явилось несколько

ко гостей, которых я не рассмотрела; впрочем, один – средних лет, с лицом ничего не выражавшим – подсел ко мне за столом и говорил без умолку. Расспросив предварительно, не знакома ли я и не родня ли его знакомым и родным, он как-то коснулся Старославских; я, разумеется, приостановила его на этом предмете, и разговор оживился. Не могу не согласиться, что Старославский твой действительно должен быть существом не совершенно обыкновенным. Гость Грюковских далеко не поэт, и рассказы его нимало не отзываются фантазиею; напротив, они просты и дышат истиною. Гость коротко знал отца Старославского, все семейные дела его, некоторые подробности жизни, привычки, характер; одним словом, из всего слышанного мною я почти составила себе поверхностный очерк будущего соседа и довольна им гораздо более, чем вчера. Главная причина примирения моего с ним состоит в том, что он не очень молод: ему более тридцати лет; потом он, по словам соседа, должен быть без больших претензий, с твердым и непреклонным характером, и нисколько не занимается со-

бою; состояние его значительно, он не скуп, не сентиментален, не любит лошадей, сплетен и ни в кого не был влюблен. Впрочем, последний пункт я поместила между прочим, а все прочее с целью – короче познакомить тебя, друг мой, с тем человеком, который, кажется, начинает тебе нравиться. Но возвратимся к спектаклю; постараюсь не забыть ни малейшего обстоятельства. В 8 часов пошел дождь, и бумажные фонари, развешенные по деревьям, погасли; пыль превратилась в грязь, и все общество с помощью четверо-местных дрожек переехало в кладовую; я нечаянно дотронулась до дрожек руками и – вот уже сутки, как, несмотря на все известные способы выводить пятна, запах дрожек и цвет их неразлучен с моими руками. То, что называли сценою, было сколочено кое-как из досок, размалевано мелом, расписано яркими красками и представляет рисунки двух муз с циркулем, лирою и треугольником; у муз атлетические формы и позы вовсе неграциозные; а два голубя, держащие венок на самой середине занавеса, величиною с горных орлов. Скамьи, нетвердые на своих основаниях,

равно выжелчены чем-то марким. Обеденный сосед мой подостлал под себя носовой платок, я сделала то же, нашему примеру последовал папа и многие другие гости. Оркестр расположился позади зрителей и начал увертюру не разом; некоторые инструменты даже значительно опоздали; но, раз начав, каждый по очереди продолжал держаться своего такта, несмотря на стук и суету капельмейстера; музыкальный хаос прерван был свистом, раздавшимся за кулисами, – и занавесь взвилась. Первые пять минут прошли во всеобщем ожидании; на сцену не выходил никто, и мне становилось ужасно неловко; в партере начинали уже раздаваться несвязные слова; зрители едва удерживались от смеха; сама Агафоклея Анастасьевна привстала было с своего места; но новый свист за кулисами – занавесь упала, и только что прерванная увертюра слышалась с большею энергией. Некоторые из зрителей подошли к самой сцене, пошептались чрез щель дверей с актерами и с улыбкою сообщили всем зрителям поочередно, что Елена Савишна, то есть одна из младших дочерей, не могла решиться выйти на сцену и

сильно переконфузилась. Тут Агафоклея Анастасьевна вступила в свои права и, показав знаками партеру, что берет на себя все уладить, пододвинула стул к возвышению, перешагнула через ряд зажженных огарков и скрылась за кулисами. До нас долетали некоторые выражения, из которых нетрудно было заключить, что Елена непременно решится выйти на сцену, что и не замедлило исполниться. Едва спустилась Агафоклея на нижний пол, как пронзительный свист утомил музыкантов; венок с голубями поднялся к потолку, и Елена предстала в офицерском сюртуке, сшитом не по ней и не совсем новом, и, что всего интереснее, глаза Елены были красны от слез. Громкий аплодисмент приветствовал девицу-офицера, которая сначала покраснела, смешалась, присела и наконец убежала за кулисы. Агафоклея Анастасьевна на этот раз рассердилась не на шутку, и стул ее уже приставлен был вторично к помосту, когда офицер вернулся и, размахивая руками, начал шепотом, вероятно, смешные стихи, но так скоро, что никто, конечно, не слышал их лучше меня, а я ровно ничего не слышала.

«Громче, громче!» – раздалось из бокового куста, впрочем более похожего на зеленый ананас, и несчастная Елена остановилась, взглянула умоляющим взором на мать и, решительно уже расплакавшись, начала свою роль снова. Никогда еще не видала я женщины в таком порыве негодования, в каком находилась Агафоклея Анастасьевна; губы ее дрожали, глаза озарялись страшным блеском; все движения ее дышали гневом; но папа и прочие гости употребили все средства, чтоб успокоить мать бедной Леночки и громкими «браво!» ободряли дебютантку, неловкую и премуорительную в мужском наряде. Вероятно, прежде времени Купер явился на помощь, и все пошло своим порядком; поэт наклеил себе брови, голову прикрыл розовым пластырем, представлявшим лысину, провел несколько черных линий поперек лица и говорил хриплым голосом, что возбудило всеобщий хохот в партере, не принявшем в соображение, что роль эта была препатетическая. В некоторых местах он даже принимался плакать, ломать себе руки в припадке отчаяния; но в мнении публики Купер должен был остаться буффом,

и хохот единодушно вторил всем словам, всем жестам злополучного кузена. Пьеса кончилась скоро; актера вызвали, превознесли до небес, а барышень сняли руками с помоста и принесли к Агафоклее Анастасьевне, которая перецеловала всех, но побранила Леночку и позволила ей остаться до окончания спектакля в офицерском сюртуке. Между первой и второю пьесой явился на сцене Купер в темном плаще, подбитом красною клетчатою материей, и со шляпою, надетою на самые глаза. Лицо поэта и поступь обещали нечто чрезвычайное. Он медленно и с расстановками подошел к авансцене, презрительно посмотрел на публику, молча покачал головой, потом отступил назад, поднял руку и крикнул диким голосом: «О чем шумите вы, народные витии?» Не аплодисмент, но крик, не шум, а грохот раздались в кладовой, когда Купер умолк; он глубоко вздохнул, приложил руку к сердцу, опять вздохнул, поклонился с важностью и, схватившись обеими руками за голову, поспешно скрылся. Как он показался мне жалок в ту минуту, Sophie, я передать тебе не могу. Mon Dieu! il est done possible d'ktre bkte a

се point![17] Хороши и зрители! Вообрази... но нет, ты сочтешь это за экзажерацию; клянусь, не прибавлю ничего: многие плакали от умиления и с восторгом целовали руки Агафоклеи Анастасьевны!

Последняя пьеса была произведение Купера; состояла она из стихов, танцев, кривляний и живой картины; в заключение автор проговорил куплеты в честь матери, и все прочие актеры пропели их хором и откланялись, принимая комические позы. Новый стук и крик в партере, новые «браво!» и – усталая, усыпленная донельзя, – я бегом возвратилась в дом, извинилась перед всеми и бросилась в постель. Non, on ne m'y prendra plus![18] Скорей в Скорлупское! надолго, навсегда, ежели можно. Какое счастье не видеть и не слышать их более, ни музыки, ни стихов, ни чего! Je me sens brisйе.[19] Прощай, Sophie; до интереснейшей эпохи писать не буду.

Купер просил позволения посетить нас; le moyen de refuser?[20] Что же это будет?

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Со мной случилось множество происшествий, *с'hyrie amie*, одно другого забавнее. Не писала к тебе более месяца, чтобы собрать побольше материалов. Во-первых, Старославский в наших окрестностях; мы виделись один только раз. Старославский оригинальнее всего, что я когда-нибудь встречала; *c'est un ktre a part*;^[21] но журнал требует последовательности; итак, вооружись новым запасом терпения и слушай.

Минута возвращения от Грюковских была для меня истинным праздником; плантации мои выросли в мое отсутствие, цветов прибавилось всюду; *lady Milvort* похорошела; я кормлю ее каждое утро хлебом и езжу на ней в два дня раз; одной, впрочем, скучно. К нам прибыл из Петербурга выписанный моим отцом машинист, который взялся построить на Днепре какую-то фабрику. Все вечера проводим мы на берегу реки; множество людей занимаются этою работою. Жозефу поручено наблюдать за ними, и деятельность его баснословна: он творит просто чудеса. Машинист

уверяет меня, что течение Днепра будет остановлено плотиною; не знаю почему, но мне было бы досадно, если бы машинисту-иностранцу удалось это сделать. Жозеф называет машиниста «mon savant».[22] Прошла неделя по возвращении нашем в Скорлупское, как в одно утро в превысокой коляске явились Купер и Антонина. На первом было нечто гороховое, вышитое черными шнурками; он успел написать целую поэму на скорлупское солнце, пробегающее, по словам поэта, горизонт наш гораздо скорее прочих мест, и поспешность эту приписывает кузен ревности лучей к блеску глаз моих. Антонина после долгих приготовлений решила наконец спросить у меня, какое впечатление произвел на сердце мое ее брат; я отвечала только что не полным признанием страсти, но, не выдержав, захохотала; Антонина оскорбилась не на шутку... Когда я смотрю на моих молодых родственников, невольно приходят на память мне слова одного из петербургских друзей отца, который как-то утверждал, что просвещение может принести существенную пользу только тогда, когда усвоено вполне...

Купер и Антонина подтверждают подобное заключение: не исказилась ли полупросвещением вся жизнь двух этих существ, рожденных с добрыми сердцами, может быть, с прекрасными склонностями? не был ли бы счастливее Купер простым Куприяном, а Антонина обыкновенною девушкою, воспитанною в чистых и добрых нравах, с необходимыми знаниями всего того, что составляет счастье мужей и семейств? И не попадись Куперу плохой перевод Байрона, а Антонине Купер, и тот и другой не сошли бы с тропинки, которую начертила им судьба. Впрочем, бог с ними! Старославский интереснее, и потому обратимся к нему. Знакомство мое с ним так оригинально, что даже ты, которая знаешь его, вероятно, удивишься странности нашего нового соседа. Уверенность встретить в нем одного из слишком знакомых типов расположила меня к твоему знакомому весьма невыгодно для него: я готовилась быть холодною, неприступною. И вот в каком расположении духа находилась я, когда приходский священник наш явился в одно утро с просьбою окрестить только что родившуюся дочь

его. Папа дал за меня слово. На следующий день, часу в двенадцатом, мы отправились в дом священника; в нескольких шагах от крыльца повстречали мы двух верховых лошадей и человека, одетого просто, но порядочно; человек поклонился нам очень вежливо, но мы едва заметили его поклон, потому что папа и я поражены были красотой этих двух лошадей. Представь себе, *chère amie*, мое отчаяние: *lady Milvort* дурнушка в сравнении с ними! «Кому могут принадлежать такие совершенства?» – воскликнули мы в один голос, но спросить было поздно: их провели далеко, а вернуть показалось неловко; к тому же в нескольких шагах позади нас шли рука об руку Купер с Антониною; первый мстил мне двухдневным убийственным хладнокровием за какое-то слово, которое, как он говорит, превратило в пепел все способности его сердца. Папа, долго скрывавший нерасположение свое к поэту-родственнику, сознался наконец, что присутствие родственника в Скорлупском считает роскошью, и с той минуты уже не только не говорит с ним, но избегает всякой встречи; и на этот раз предпочел он рас-

спросить о прекрасных лошадях у кого-нибудь другого. На крыльце были мы встречены священником, тремя взрослыми его сыновьями и гостями, прибывшими из соседних сел.

Жилище нашего священника состоит из двух небольших комнат; стены первой, или приемной, увешаны множеством портретов в монашеском одеянии; вторая комната служит спальнею, образною и библиотекою. Против самых дверей в первой комнате стояло уже на большом столе множество яств, состоявших большею частью из пирогов и жареных птиц. «Где же супруга ваша?» – спросил у хозяина папа. «Она пошла прогуляться с будущим куманьком», – отвечал священник. В это время в комнату вошли Купер с Антониною. Папа похвалил пирог, довольно вкусный, и выслушал рассказ о каком-то деле, касающемся хозяина. Купер с ужимками, свойственными молоденькой девочке, ограничил завтрак свой небольшим куском хлеба, а сестра его осуждала все и не переходила порога сеней. Так прошло по крайней мере с полчаса времени, как вдруг та же Антонина громко воскликнула: «Ах, monsieur Старославский!» – и

вслед за восклицанием в дверях появился тот, кого я так давно желала видеть и кого никак не ожидала встретить в доме отца Кирилла. Сознаюсь, при имени Старославского голова моя как бы невольно повернулась назад, а слово, высказанное до половины, замерло на языке. Много раз повторенное целованье жены священника, вошедшей в одно время с гостем, помешало мне слышать ответ Старославского на кудреватое приветствие кухни; разговаривая рассеянно с будущей кумой моей, я могла только схватить на лету несколько слов, сказанных отцом моим гостю, на которые тот, кажется, отвечал очень отрывисто, а что именно – не знаю, но настал мой черед. «Павел Николаич Старославский», – сказал папа, подводя ко мне молодого человека... то есть, как тебе сказать, Sophie? молодого, не молодого, а человека лет тридцати пяти. Старославский пристально взглянул на меня и поклонился молча; я пробормотала что-то и села на свое место; он отошел.

Вот первое впечатление, которое сделал на меня фаворит твой, chige amie, – а оно, говорят, редко бывает обманчиво. Старославский

не красавец, и это обстоятельство большой шанс, чтоб понравиться по крайней мере мне. Не знаю почему, но при слове «bel homme»[23] воображению моему представляется та фигура с черными глазами, усами, кудрями и бакенбардами, которую встречали мы на всех петербургских балах. Ты не можешь не отгадать, про кого я говорю; вспомни приторную физиономию, смотрящую самодовольно на всех женщин, на толстую золотую цепочку своих часов, большую руку, сдавленную палевыми перчатками, ажурный чулок и лакированный башмак гиганта; вспомни дачу Крестовского острова, павильон, в котором рисовался красавец во время гулянья; вспомни то отвращение, которое внушал мне некогда постоянный гость толстой княгини Л., – и ты поймешь, как страшилась я найти Старославского красавцем этого рода; но, к счастью, он не брюнет, не высок, не приглажен и, кажется, с голубыми глазами; на этот счет я успокоилась и обратила внимание на руки, ноги и все его движения: руки и ноги были малы, а движения – неприужденны; фрак неопределенного цвета, за-

стегнутый до половины; галстух в роде batiste йсгве[24] и белизна тонкого белья расположили меня в пользу будущего соседа нашего.

Старославский мил и ловок во фраке. Как жаль, друг мой, что мужчины вообще не подозревают в нас способности отгадывать свойства их не только по первым фразам, но по малейшим принадлежностям туалета, по прическе волос, повязке галстуха и тому подобным ничтожностям! как жаль, что многие из них изучают улыбки свои перед зеркалом, а всем движениям тела стараются придать ту плавность, ту грациозность, которая не только не может нравиться, но кажется приторною и ненатуральною! Сколько раз мне досадно было, что умные и любезные вещи вылетают из уст, осененных подкрашенными усами, или из головы, подпертой тугим галстухом. Такое же впечатление производит на меня фрак без складок, узкие рукава, слишком прямой стан, неподвижные руки, металлические запонки, булава с чудовищной жемчужиной, брелоки, тщательно завитые кудри, крепкие духи, отвороченные и длинные манжеты, воротнички, покрывающие

пол-лица, и тысяча других безделиц, бросающихся невольно в глаза. Ничего этого не заметила я в Старославском, и мне стало как-то легко. Встреча его с Купером ограничилась пожатием руки и двумя словами, что доказывало обыкновенное отношение двух лиц, бывших долгое время в разлуке, но не коротких. В Старославском не видно ни пренебрежения, ни той двусмысленной улыбки, которыми обыкновенно стараются выказать преимущество свое пред встречаемым лицом. Выслушав Купера до конца, гость сообразил, вероятно, что приветствие, сделанное им кузине мимоходом, было недостаточно, и потому, не оборачиваясь ни к кому спиною, он подошел снова к Антонине и сказал ей что-то, по-видимому, не смешное, но очень милое; я заключила это из улыбки кузины, улыбки, вовсе не насмешливой, но пристойной; подобное явление не часто повторялось на лице нашей родственницы. В это время в комнату внесли купель. Родители новорожденной вышли вон, предоставив одному из соседних священников совершить обряд и какой-то старушке распорядиться всем в их отсут-

ствие. Старушка подошла ко мне с низким поклоном и просьбою качать обряд. «Но кто ж кум?» – спросила я, вставая. «Восприемником будет Павел Николаич», – отвечала старушка, указывая на Старославского, который в это время разговаривал с папа. Услышав свое имя, он обернулся; старушка повторила поклон и просьбу, обращенную на этот раз не ко мне, но к нему. Все встали со своих мест. Папа подвел меня к купели и отошел в сторону; ребенка внесла какая-то женщина и поместилась с ним по левую сторону от меня для начатия обряда. Все ожидали, чтоб Старославский занял свое место, но он не двигался и с видом совершенного равнодушия продолжал смотреть на всех нас. «Пора бы начать, Павел Николаич, – сказал наконец священник, – мы готовы». При этом возгласе Старославский с удивлением посмотрел на нас. Купер взял на себя объяснить моему будущему куму, в чем дело, и – представь себе общее удивление наше, когда вместо того, чтобы извиниться в рассеянности, заставившей нас ждать его так долго, Старославский решительно объявил, что не только не имел намерения быть вос-

приемником новорожденной, но дал себе торжественный обет не крестить никогда и никого. Тон, с которым говорил он, до такой степени мне не понравился, что я чуть не заплакала и готова была бежать из комнаты; но папа, желая, вероятно, вывести меня из неприятного положения, вызвался сам заступиться место Старославского – и ребенка окрестила я с отцом. Нужно ли прибавить, что все остальное время, которое мы пробыли в доме священника, я избегала всех случаев говорить с неучтивым соседом, что и возвратило Куперу его глупую уверенность. Вплоть до шести часов продолжалось угощение, от которого отказаться было трудно: так настоятельно упрашивали хозяева отведать и медового варенья, и просто меду с огурцами, и домашних смокв, и маку в меду. Ты, та шиге, не имеешь никакого понятия о деревенском десерте. Главная претензия угощающих состоит только в том, чтоб предлагаемое было сладко, а о прочем не заботятся. Как ни желала я, хотя бы на зло Антонине и Куперу, есть больше, но никак не могла, в то время как папа и Старославский, казалось, старались превзойти

друг друга в безвкусице и, непринужденно накладывая на тарелки свои всего и помногу, превозносили искусство жены священника, которая не переставала кланяться и благодарить обоих. Последним угощением было вино, подносимое гостям тою же женщиною, которая держала ребенка. Все без исключения клали ей на поднос разные монеты. Я хотела было отказаться от вина, но папа показал мне знаком, что это невозможно, и второпях я чуть не проглотила целой рюмки. В семь часов мы распрощались с хозяевами и вышли из дому в сопровождении всего общества. Старославского пригласил отец провести вечер у нас; он подал мне руку, и первым предметом разговора нашего была ты, Sophie! Заключения свои о тебе и многих знакомых наших выражал Старославский так резко и так положительно, и притом так верно, что мне невольно становилось неловко; каждое слово, сказанное им, было приговором, и приговором совершенно справедливым; более всего поразило меня то, что Старославский нимало не старался украсить речь свою тем желчным остроумием, которое нередко обращает в на-

смешку самые серьезные вещи: заключения его обо всем были строги и беспристрастны. Я прослушала его целый час и не слыхала ни одной любезности, ни одного комплимента, ни одной приторной вещи и, что всего важнее, ни одной двусмысленности; а это много, очень много! Передать тебе все подробности вечера не берусь и заключу письмо последнею выходкою твоего фаворита; эта выходка утвердила меня в той мысли, что новый сосед наш – самое оригинальное существо, какое когда-либо мне встречалось. Просидев за чайным столом до полуночи, мы встали наконец, и гость, отыскав шляпу, подошел проститься с нами. Отец мой просил его не забывать соседей; Купер прочел прощальную тираду из какой-то драмы; я повторила приглашение отца, и оставалась Антонина, которая, вероятно, с намерением отошла к двери. Едва Старославский обратился к ней, как милая кузина погрозила ему пальцем и объявила вполголоса, но так, чтоб все слышали, что она угадала причину, заставившую его отказаться от удовольствия быть моим кумом.

Старославский очень серьезно намеревал-

ся пройти, но Антонина преградила ему дорогу и расхохоталась так громко, что все мы невольно обратили на нее внимание. «Стало быть, я угадала? стало быть, это так?» – кричала кузина, смеясь и продолжая стоять в дверях. Старославский не смеялся и смотрел на нее совершенно спокойно. Ты понимаешь, chigie amie, что не принять участия во всем этом было неловко и даже невозможно. Антонина так явно приглашала все общество подойти ближе и спросить, в чем дело, что папа, который хотя и предвидел глупую шутку со стороны родственницы, однако ж принудил себя улыбнуться и вмешаться в разговор. Антонина только этого и добивалась.

– Я готова поверить вам, mon oncle,[25] тайну мсье Старославского, потому что тайна эта принадлежит мне; я угадала ее, – сказала кузина, – но не знаю, согласится ли на то мсье Старославский.

– Угаданная тайна, по мнению моему, должна быть священнее прочих, – отвечал отец мой.

– Но она касается до вас, mon oncle, или, лучше сказать, до кузины Nathalie, – восклик-

нула Антонина.

Услышав мое имя, папа видимо смешался, а я решительно не нашлась что сказать и подошла еще ближе к разговаривавшим. Антонина торжествовала; в глазах ее выразилось столько злобы, что не заметить этого было невозможно; Старославский один сохранил все свое наружное спокойствие и, не переменив ни положения, ни голоса, объявил, что не желает долее скрывать тайны своей, когда она угадана Антониной, и если ей угодно, чтоб предмет разговора их был известен всем, то он объявляет, что, приехав к священнику с намерением окрестить новорожденного, он вдруг вспомнил о воспрещении брака особам, совершившим это таинство, и потому отказался от чести быть моим кумом.

Не поняв сначала ответа Старославского, я с любопытством продолжала смотреть на всех; когда же истинный смысл этих немногих слов сделался мне понятен, ты можешь вообразить, Sophie, как вспыхнуло мое лицо; я готова была бежать из комнаты, но Старославский предупредил это движение и, подойдя ко мне, сказал такую вещь, которую от-

гадать ты была бы не в состоянии. Вот что он сказал слово в слово: «Графиня! кузина ваша вызвала меня на откровенность, которая очень многим могла бы показаться или дерзостью, или признаком дурного воспитания. Отказавшись от чести быть кумом вашим, я действовал по какому-то внутреннему побуждению, которого объяснить не умею. Мне казалось, что поступком этим я отстранил первое препятствие и сделал первый шаг к моему счастью. Дозволение видеть вас часто я почту за право иметь эту надежду».

Старославский поклонился и вышел из комнаты, предоставив каждому из нас придать физиономии своей то выражение, которое каждый найдет приличным.

– Но ведь это настоящая декларация! – воскликнула Антонина.

– Претензия на эксцентричность! – проговорил Купер.

Я взглянула на отца; он улыбался, но, казалось, не был ни рассержен, ни удивлен. Как тебе нравится, *сhère Sophie*, выходка фаворита твоего, и какими глазами прикажешь ты мне смотреть на человека, который, пробыв

со мной несколько часов, успел, во-первых, устранить первое препятствие к достижению чего-то, впрочем довольно понятного, и сознаться в том при посторонних свидетелях? Премило!.. Шутки в сторону; я страшусь второй встречи и никак придумать не могу, как будет вести себя Старославский в отношении ко мне. Ложусь в постель, но чувствую, что спать не буду. А преоригинальный, Sophie, твой Старославский!

На следующий день.

Солнце уже было высоко на безоблачном небе, когда я закрыла глаза; но едва первый сон овладел мною, как голос Антонины раздался под самым окном, и волею-неволею я должна была встать. Она уверяла, что никогда еще не спала так крепко, как в эту ночь, но глаза ее говорили противное, и я ручаюсь, что милая кузина не смыкала глаз. Целые два часа проболтали мы о предметах совершенно посторонних; но ей хотелось непременно, чтоб я начала говорить первая о Старославском, а мне не хотелось удовлетворить желание кузины – и утро тянулось как вечность. В одиннадцать часов мы, по обыкновению, все

собрались к чаю. Купер явился в пунцовом платочке и клетчатых бумажных чулках, а la laitigre.[26] Папа был в самом веселом расположении духа; он даже сделал Куперу несколько вопросов и любезничал с Антониною. После чая мы отправились на берег Днепра. Земляные работы значительно подвинулись; иностранный машинист умничал; папа верит ему во всем; сам же Днепр и Жозеф только что не улыбаются с недоверчивостью: движения обоих и быстры и безостановочны. Мне растолковали цель и план работ. Вот видишь ли, Sophie, машинист предложил отцу поднять посредством плотины реку и силою воды ее привести в движение большой пильный завод и несколько мельниц; все строения воздвигаются в одно время с насыпью, и через месяц все будет готово. Машинист сулит золотые горы, и дай бог, чтоб слова его осуществились. Я готова была бы разделить слепую доверенность отца, но не знаю, почему взгляды и физиономия Жозефа внушают мне невольное сомнение. Жозеф страстно любит Днепр, и хотя в минуты восторга дает ему преуморительные и пребранчивые названия,

как-то: *le vieux scūlūrat* или *vieux monstre*,[27] но названия эти в устах Жозефа отзываются какою-то нежностью. Не имея возможности говорить часто на своем наречии, он добыл где-то преуродливую бесхвостую собачонку, которую успел в короткое время приучить к себе, носить за собою трубку, узел с хлебом, лопатку, и проч. и лаять, когда обращаются к ней с вопросом; называет же Жозеф ее «Сабашка». Впрочем, что касается до названий, то француз наш не обошел никого и переименовал по-своему всех без исключения; а именно: отца называет он «*mon gññgal*», меня – «*ma chatelaine*», Купера – «*mon Adonis*», Антонину – «*la demoiselle aux yeux de tullippe*», машиниста – «*lesavant*», а садовников и прочий народ – «*le vulgaire*»,[28] вот на какие имена обязан поневоле отзывать каждый! К бесчисленным талантам Жозефа присоединилось знание медицины; лекарства свои он добывает всюду, и излечение одного из соседей наших от какой-то долговременной болезни приобрело новому медику всеобщую и неограниченную доверенность. Но довольно покуда о Жозефе. Продолжаю журнал.

Возвратясь с прогулки, папа приказал заложить коляску. «Куда?» – спросили мы в один голос. «К Старославскому», – отвечал отец. Антонина посмотрела на меня выразительно; я покраснела. Как глупо!

Весь остаток дня прошел несносно скучно. Антонина пела фальшиво, а Купер одним пальцем брэнчал Gтвсе. Я без церемонии пролежала до вечера на диване, перелистывая «La guerre de Nizam»:[29] как мил Мери и как хорош его сэр Эдвард! Неужели, chige amie, существует на поверхности земного шара угол, где мужчины имеют случай кровью тигров поливать цветы у ног любимых женщин и говорить о любви под дикую песню тугов? Купер уверяет, что встречал где-то, в Ржеве кажется, одну купчиху, которая разительно похожа на Аринду, и вследствие этого он заключил, что дочь набоба, дурная собою, нравилась только потому, что у нее были брильянтовые копи. Купер завидовал даже Мери, и творение его находил безвкусным и слабым. Отец возвратился поздно и о Старославском не говорил ни слова. Завтра, кажется, гости наши собираются оставить Скорлупское.

Какое счастье! И уж конечно, ни я, ни папа не станем останавливать их. Опять ночь... опять тоска и бессонница – вероятно, от дневной усталости.

Кстати, знаешь ли, Sophie, что профиль Старославского напоминает *Constaniin R.*, конечно *en laid*?[30] Сходство это поразило меня с первого взгляда, и я долго не могла вспомнить, на кого он похож.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

(Пятнадцать дней спустя.)

Если б не письмо твое, chire Sophie, я, конечно, не пропустила бы пятнадцати дней и продолжала бы свой ежедневный отчет о происшествиях, которые хотя и не совсем интересны, но уж, верно, срывали иногда улыбку с твоих уст. Вопрос же, который ты мне сделала так неожиданно, поставляет меня в необходимость наблюдать внимательнее за всем тем, что происходит вокруг меня, и только что не взвешивать каждое слышанное мною слово. Обязанность, возложенная тобою на меня, была бы свыше сил моих, если б героем нашим был не Старославский. К сча-

стью моему, этот человек действует так резко, что подробный рассказ о поступках его, без всякого сомнения, послужит тебе лучшим ответом. Сообрази их, как умеешь, и выведи заключение, какое хочешь; я не беру на себя ни того, ни другого. Тебе известно то впечатление, которое произвела на меня первая встреча с соседом нашим в доме священника; наружность и манеры Старославского выказывают в нем человека хорошего тона; объяснение же причин, заставивших его отказаться крестить со мною, ты сама согласишься, выходит из общего порядка вещей, и потому не могло не показаться нам странным. Я не скрою, что второй встречи с ним я ожидала с некоторым беспокойством и никак не могла придумать, в каких отношениях будет со мною Старославский и какое выражение должна я буду придать лицу моему при нашей встрече. Я уж писала тебе, что отец заплатил ему визит, но, возвратясь, не говорил о соседе ни слова. Распрощавшись с Антониной и Купером, мы остались одни. Первые три дня одиночества нашего прошли довольно скучно; общество родственников, далеко

не занимательное, как-то наполняло промежутки бесконечных летних дней. Отец всею душою предался своим занятиям; я старалась одушевиться его энтузиазмом; но и Днепр потерял в глазах моих часть своих прелестей; мы слишком часто видимся. Жозеф повторяется; деятельность его беспримерна, но бог с ним! Прогулки по тем же дорогам и тропинкам возмутительно похожи одна на другую, а читать, вечно читать – вредно для глаз, говорит доктор. Оставалось разложить краски, карандаши и кисти, спросить стакан воды, приняться за рисованье – плохой ресурс, когда рука не дерзала переступить границ, начерченных моим учителем! Незабудки, розы и тюльпаны так надоели, что я, скрепя сердце и только что не запершись на замок, решила набросить пейзаж. Пока дитя моего воображения обозначилось неявно на бумаге и кисть не заменила карандаша, я была почти довольна собою; но едва дошло дело до красок и несколько пестрых пятен легло на те места, где предполагались скалы, небо, деревья и волны, отчаяние овладело мною, а рука невольно упала и выронила кисть. В эту са-

мую минуту позади меня раздалися шаги, я оглянулась – Старославский! Скрыть произведения моего было невозможно; я же, к довершению несчастья, наклеила бумагу на огромную доску, и гость, поклонясь мне, не мог не обратить внимания на пятна. «Ну что, если он будет довольно *mauvais genre*, чтобы похвалить талант мой!» – подумала я, и опасение это так меня заняло, что, нисколько не мешая гостю любоваться пейзажем, я превратилась в ожидание. Он не сказал ни слова и, подвинув кресло, сел рядом со мною, а я мысленно отдохнула и улыбнулась,

– Вы никогда не кончите этого рисунка, – сказал Старославский и без околичностей исчислил все неправильности очерка, взял мою кисть и в несколько смелых штрихов сделал именно то, что я хотела, но не умела сделать.

– Вы прекрасно рисуете, мсье Старославский, – заметила я, следуя за быстрыми успехами рисунка.

– Да, недурно, – отвечал он, не отводя глаз от бумаги.

Не прошло четверти часа, как прекрасный пейзаж заступил место моих пятен, и гость

вручил его мне, объяснив притом некоторые правила, с которыми мой учитель, вероятно, забыл познакомить свою ученицу. От рисования разговор перешел к другим предметам. Старославский сообщил мне несколько новостей, вычитанных им в журналах, которых мы не получаем, предложил мне эти журналы – и два часа времени прошли так скоро, что возвращение отца, то есть час обеда наступил, как мне казалось, ранее обыкновенного. К вечеру гость заставил нас забыть, что он не старый, знакомый, и, прощаясь с ним, мы, то есть я и отец, в один голос просили соседа приезжать как можно чаще. Не знаю почему, но папа, в отсутствие Старославского, не говорил о нем ни слова; это обстоятельство тем более удивило меня, что отец имел привычку делать строгий анализ всем, кого мы принимали в дом.

На следующее утро журналы лежали на моем столе и при них записка; она заключала в себе каталог полученных Старославским с последнею почтою книг и нот и предложение выбрать из них то, что мне будет угодно, – и только; ни одной любезности, ни одной куд-

реватой фразы. Решительно, фаворит твой, Sophie, препорядочный человек, и я очень мило отвечала ему и приняла с благодарностью предложение. Прошел еще день, и ровно в час пополудни, гость, как и в последний раз, явился передо мною с тем же лицом, выражавшим простодушие и непринужденную, серьезную веселость. Я невольно протянула ему Руку, даже, кажется, покраснела немного, но он не обратил, разумеется, на это никакого внимания, положил шляпу и по-прежнему расположился рядом со мною.

– Вы читали? – спросил меня Старославский.

Я отвечала утвердительно.

– А если читали, то не продолжать – значит прерывать занятие для меня; такое отступление для ежедневного гостя нарушает порядок и ставит меня в необходимость бывать реже.

– А если так, то будем читать вместе, – отвечала я, смеясь.

Гость молча взял мою книгу, спросил, где я остановилась, и чтение продолжалось два часа; приход отца прекратил занятие наше, и

вечер провели мы на берегу Днепра. Старославский поколебал доверенность отца к машинисту, доказав ему очень ясно, что мнение Жозефа справедливо и предприятие осуществиться не может.

Папа сделал гримасу, глубоко вздохнул, но отказаться от продолжения работ не решился, и в одиннадцать часов мы снова расстались с соседом. Мы были в саду, когда гостю подвел его грум знакомую нам лошадь-красавицу; не похвалить и не поласкать ее было невозможно. Старославский предложил мне ездить на ней, ручаясь за кротость своей любимицы, но я отказалась от лошади, согласясь быть его дамою во время первой прогулки. Он поклонился, сел в седло; новый страх овладел мною: я страшилась, что он поскачет, — но гость уехал шагом, а мы с отцом возвратились домой.

Остается передать подробности последнего свидания и заключить тем послание, которое, боюсь, покажется тебе слишком утомительным. Прошло еще трое суток, и ранее обыкновенного к крыльцу нашему подъехал тильбюри; из него вышел сосед: позади явился грум,

державший в поводу его лошадь. Погода была ясная, но воздух прохладен, и для прогулки верхом нельзя было выбрать лучшего дня. Старославский все-таки был во фраке, но другого покроя; я заметила это потому, что, по свойственной мне привычке всегда чего-нибудь бояться, я боялась сюртука. Отец оканчивал еще последнюю чашку чаю, когда гость вошел. «Я предлагаю вам продолжительную прогулку, – сказал он, обращаясь ко мне, – а именно в Грустный Стан». Я взглянула на отца: он молчал, гость ожидал ответа; отвечать было надобно; я подумала, или, лучше сказать, не подумав, ограничилась замечанием: «Не далеко ли будет?»

– Десять верст, – отвечал Старославский, – но с нами тильбюри, дорога гладкая, и в полночь мы возвратимся обратно.

Если бы я сказала тебе, что не желала согласиться на предложение Старославского, то я бы солгала; к тому же упорное молчание и улыбка отца не доказывали ли, что он полагается вполне на благоразумие моего ответа. Я снова подумала и согласилась. Назови поступок мой как хочешь, *chire amie*, я готова про-

честь приговор свой в первом письме твоём; как бы то ни было, но чрез полчаса мы скакали мерным галопом очаровательною тропинкою, пролегавшею через темный лес; тильбюри и грум следовали за нами в самом близком расстоянии... Позволь, друг мой, прервать на минуту рассказ и объяснить тебе причину моего поступка. В обычаях английской аристократии принято, чтобы девушки прогуливались одни, в сопровождении посторонних, конечно, коротко знакомых мужчин, и благородство этих спутников служит верною порукою за безопасность нашего пола. Конечно, аристократия М...ского уезда не согласится с мнением англичан; но какое же мне до этого дело? А лишать себя невинного удовольствия из боязни скандализировать Антонину, конечно, не стоит. К счастью, на пути от Скорлупского до Грустного Стана не встретилось ни одного сюртука, ни одного кисейного платья с мысом, и о ветреном поступке моем не проведают никто. *Ne sois donc pas prude, chère amie,*[31] и читай, я продолжаю.

Мы проговорили всю дорогу и незаметно доехали до готических ворот обширного дво-

ра, заросшего деревьями и кустарником.

Грустный Стан с первого взгляда оправдывает вполне свое название: он мрачен, грозен, но живописен до крайности. Почерневшие от времени высокие стены огромного дома напоминают те древние здания, которые подарил Петербургу гений Растрелли. Пруды тянутся по всем направлениям; церковь с множеством глав выглядывает из-за вековых сосен; кругом всей усадьбы дремучий лес, и лесу этому, кажется, нет конца.

У крыльца мы сошли с лошадей. Старославский подал мне руку у входа, сам отпер тяжелую дверь и ввел меня в обширную прихожую. Ни один слуга не вышел к нам на встречу – обстоятельство, которое, по-видимому, нимало не удивило хозяина, принявшего из рук моих шляпу и хлыстик. В первую минуту неожиданная пустота великолепного жилища Старославского произвела на ум мой странное впечатление. Мы молча перешли через темный, хотя двусветный зал, расписанный фреско по-старинному; гостиная и другие комнаты не уступали зале ни в мрачности, ни в древности, ни в строгом и вместе

с тем изысканном для тогдашнего времени убранстве. Белые с позолотою скамьи, обитые алым сукном, и такие же столы симметрически расставлены были вдоль стен залы; резные диваны и кресла украшали первую гостиную; во второй расставлена была позолоченная мебель, а вокруг третьей тянулись турецкие диваны, обитые коврами. Картин и прочих предметов я рассмотреть не успела, потому что, признаюсь тебе, мне страх хотелось выйти на террасу, у подножия которой, в глубоком обрыве, протекал Днепр. Гигантские тополи, сосны и другие деревья симметрически группами разбросаны были по большому пространству; во всем были заметны следы чьей-то воли, мысли и трудов; сама природа, казалось, уступила права свои какому-то человеку; но когда и сколько веков прошло с тех пор, я дала себе слово расспросить о том Старославского. Сам он был мрачен, как его Грустный Стан, и эта мрачность шла им обоим. Я просила хозяина познакомить меня короче с домом, садом и окрестностями.

– Дом наведет на вас тоску, – отвечал Старославский, – сад не существует более, а

окрестность полна таких воспоминаний, которые чуть ли не грустнее самого дома.

– Но, избрав целью прогулки нашей Грустный Стан, не имели ли вы намерения пококетничать им передо мною, мсье Старославский? – заметила я, смеясь.

– Пококетничать? конечно нет, но предложить его вам!

– Мне предложить Грустный Стан?

– Вам. Что же вы находите в этом чрезвычайного?

– Я не понимаю...

– Ну так я объясню вам.

– Это очень любопытно, – отвечала я, несколько смешавшись.

– Но прежде объяснения, Наталья Николаевна, – продолжал Старославский, – скажите мне откровенно, какими глазами смотрите вы на замужество? Допускаете ли вы возможность счастья без страсти и предпочитаете ли вы бешеной любви постоянное согласие супругов, основанное на симпатии? Наконец, при каком из этих двух условий, по мнению вашему, счастье вероятнее?

– Полагаю, при последнем, – отвечала я,

все-таки не угадывая, чем кончит Старославский.

– А если так, то почему же Грустный Стан не будет вашим?

– Как моим?

– Конечно, вашим, Наталья Николаевна. Не имея никакой надежды внушить вам страсть или любовь к себе, я допускаю, однако ж, симпатию.

– Вы слишком скромны, мсье Старославский.

– Нет, – продолжал он спокойно, – но брак серьезная вещь, и, веря в возможность...

– Вы верите в возможность? – спросила я, смеясь.

– Почему же нет? Я говорю, вам, что не надеюсь внушить вам любовь, но не отвергаю в себе присутствия тех достоинств, которые могут составить счастье жены.

– Мсье Старославский, – перебила я все еще шуточным тоном, – согласитесь, что разговор наш принимает довольно странный оборот?

– И оборот этот вам не нравится?

– Я не понимаю настоящего его смысла.

– Он очень ясен.

– Смысл?

– Мы говорим о возможности принадлежать когда-нибудь друг другу.

– То есть говорите вы, мсье Старославский, это не все равно...

– Жаль, потому что на этом предложении я основываю мою будущность.

– Но ради бога, – воскликнула я почти с сердцем, – не заставьте меня найти Грустный Стан ваш прескучным станом и пожалеть о прозаических аллеях Скорлупского: в них вы были гораздо любезнее.

– Послушайте, Наталья Николаевна, – сказал Старославский, и лицо его приняло серьезное выражение, – вы молоды; жизнь в глазах ваших длинный ряд праздников, не делающий вас положительно счастливою, это правда, но...

– Я часто скучаю, мсье Старославский.

– Как скучают на балах. Ведь молодость пройдет, а бесконечный ряд дней, далеко не праздничных, стоит настороже. Вот я так уж первые из них встретил на пути и горько задумался. Одиночество грустно и бесцветно,

как этот сад, как этот дом, как все, что окружает меня в моем Грустном Стане.

– Но вы еще так молоды?

– Не очень. Тридцать шесть лет.

– А воспоминания, а вся прелесть прошедшего?

– Прошедшего? – повторил с горькою улыбкою Старославский и, помолчав несколько минут, медленно встал с своего места и подал мне руку. – Послушайте! – сказал он с такою грустью, которой вспомнить не могу, – подарите воспоминаниям моим час времени.

– Охотно, – отвечала я, вставая в свою очередь. Мы сошли с террасы и молча отправились по заросшей тропинке, тянувшейся к церкви; остановясь у ветхой каменной часовни, Старославский предупредил меня, что в семействе его сохранилось обыкновение не закапывать гробов усопших, а сохранять их в погребке, и потом, не дождавшись ответа, отворил железную дверь, отступившую со скрипом и каким-то металлическим стенаньем. Сырой воздух часовни пахнул мне в лицо, я готова была отказаться от посещения могильного убежища Старославских, но отказаться

было неловко, и мы вошли.

Против дверей находился род иконостаса, составленного из фамильных образов; в левом углу спускалась лестница; она была темна. Старославский вынул одну из зеленых свечей, вставленных в высокие серебряные подсвечники, и, снова подав мне руку, стал осторожно сводить меня по холодным ступеням лестницы. Я дрожала всем телом; ноги мои подкашивались, голова кружилась, но твердая рука поддерживала меня; рука эта была холоднее ступеней, холоднее надгробного воздуха, а лица провожатого моего я теперь не могу равнодушно вспомнить – так было оно бледно. Вторая железная дверь отперлась, в свою очередь; еще шаг – и мы оба очутились в кругу черных, продолговатых ящичков; на каждом из них блистали медные доски с черными надписями.

– Вам холодно? – спросил Старославский.

– Немного, – отвечала я нетвердым голосом. Мне стыдно было сознаться, что не холод, а ужас овладел мною совершенно. Не знаю, угадал ли Старославский истинную причину моего трепета или нет; по крайней

мере он сделал вид, что не отгадывает, и, проведя меня мимо первого ряда гробов, остановился у двух, поставленных несколько поодаль от прочих и совершенно сохранившихся; один из них был очень велик, другой меньше.



– Тут хранятся останки моих родителей, – сказал он, указывая на ящички, – отец мой был честный человек, а мать добрая женщина.

Может, они прожили бы долго и счастливо...

– Если б что? – воскликнула я.

– История жизни их слишком тесно связана с моею, – отвечал Старославский. – Рассказать ту и другую в эту минуту невозможно, отложим их до вечера.

Мы поклонились родительским гробам и пошли далее. Он продолжал знакомить меня с предками, переходя от одного ящика к другому. Проведя в обществе их еще с полчаса, мы, к большому моему удовольствию, вышли из часовни. Я вздохнула свободно, когда железная дверь заперлась за нами, а свежий воздух возвратил мне всю мою веселость.

– И вы часто бываете здесь, мсье Старославский? – спросила я его, стараясь возобновить разговор, который мог бы вызвать его на откровенность.

– Каждый раз, когда мне бывает грустно и тяжело.

– Но сознание в настоящей скуке не любезно.

– Я сказал грусть, а в настоящую минуту этим чувством я действительно обязан вам... вы не хотели понять меня...

– Возобновление шутки!

– Нет, не шутки, а самого серьезного разговора, которого конец вы должны были бы выслушать из дружбы ко мне.

Слово «дружба», произнесенное Старославский в первый раз с тех пор, как мы знакомы, произвело на меня странное, но вместе с тем приятное впечатление; впрочем, чувства этого отвергнуть я не могла ни в каком случае, потому что не могла не отдавать полной справедливости прекрасным свойствам этого человека; признаюсь тебе более: самолюбию моему льстила дружба Старославского. Итак, не думая долго, я отвечала ему, что готова выслушать его с участием, вполне достойным того чувства, во имя которого он требовал моего внимания. Старославский крепко пожал мне руку, улыбнулся и, внимательно посмотрев на меня, сделал мне еще предложение, но такое, какого, конечно, не делал двадцатилетней девушке ни один тридцатишестилетний мужчина. Сделай это другой, а не Старославский – я не ручаюсь, или, лучше сказать, не знаю, что б я отвечала; но вот самое предложение:

– Наталья Николаевна, чтоб иметь терпение выслушать то, что я желаю рассказать вам, недостаточно участия друга; я дружбе вашей не верю, – сказал Старославский. – Вы допускаете возможность быть счастливою, не любя любовь своего мужа... вы сказали это, не правда ли? Подарите же мне несколько часов подобного счастья и, пока вы в Грустном Стане, смотрите на него и на все ему принадлежащее, как на вашу собственность...

– А вы, мсье Старославский, какими глазами будете смотреть на меня в это время? – воскликнула я очень наивно.

– А я на это время буду видеть в вас жену, конечно, жену, не влюбленную в своего мужа, но возвратившую ему одним правом любить ее все блага, доступные человеку, все утраченное счастье... Я требую невозможного, знаю, но подумайте, Наталья Николаевна, что отказ оскорбит не самолюбие, а сердце. (Он сделался в эту минуту немного страшен, та сшиге!)

– Je vous йсoute, Paul![32] – сказала я, смеясь и покраснев до ушей. Что произошло тогда в Старославском, не знаю; неожиданность мое-

го ответа, а может быть, и удовольствие услышать подобный ответ сделали то, что счастье, как говорится, отразилось во всем его существовании: глаза сверкнули, лицо покрылось живым румянцем; он хотел, кажется, сказать что-то, но не сказал ни слова, и зачем было говорить? Я поняла взгляд и не раскаялась в ответе; взгляд был красноречивее слов!.. Sophie, ради бога, не делай страшной ошибки, не обвиняй меня в кокетстве; Нет! Старославский был прав: женщина может быть счастлива, сделавшись его женою; впрочем, он, кажется, сказал... но в сторону рассуждения!

Мы продолжали идти молча, но не той тропинкой, которою шли в церковь, а другою, во сто крат живописнее; рядом с нею извивался быстрый поток, бежавший с горы; в иных местах он расширялся, в других, как бы приостановясь, падал каскадами и, снова пенясь и журча, продолжал путь свой по направлению к Днепру.

– Как мила эта часть сада! – проговорила я наконец; а похвалила я эту часть, сада для того, чтобы прервать молчание, которое, вероятно, было столько же тягостно для Старослав-

ского, сколько и для меня.

– Да, Nathalie, – отвечал он серьезно, – сад недурен вообще, но он запущен.

Слово «Nathalie» снова заставило меня покраснеть; но минутный муж мой смотрел в сторону, и мы пошли далее. Пейзажи сменялись с невероятною быстротою; я несколько раз принималась хвалить места, и уже не на шутку. Старославский, казалось, разделял мой восторг, и, после продолжительной прогулки, мы подошли к оранжереям; они были в большем порядке, чем все, окружавшее их. Старославский постучал в дверь, и на стук явился кто-то в пестром полуфраке.

– Это главный садовник наш Herr Wing, – сказал Старославский.

Я отвечала улыбкою на поклон *нашего* садовника, по-видимому, доброго немца.

– Сообщите ему, Nathalie, все, что желаете вы, чтоб было сделано в саду, а за точное выполнение всего вами приказанного отвечаю я, – прибавил Старославский серьезным тоном.

Что бы ты сделала, chère amie, на моем месте? Бог мой, чего бы не дала я за возмож-

ность услышать ответ твой! Впрочем, о чем я спрашиваю? Приняв на себя роль жены, могла ли бы ты отказаться от счастья превратить одичалый сад Грустного Стана в очаровательный, восхитительный, в сад, который напоминал бы уголок Павловска? Это самое я и сделала. Приказания мои посыпались на Негг Wing с быстротою виденного мною потока, который, в свою очередь, конечно, был не забыт, и в двух местах в самом скором времени должны были явиться два островка с проволочным мостиком, с кучею цветов, и проч. и проч. Где ж все перечесть? Как передать новый план, созданный хоть мимолетным, а все-таки счастием? Je suis folle, chère amie, [33] не правда ли? Но что ж делать? он этого хотел, твой Старославский, а я, ты знаешь, всегда была склонна к сумасшествию, а бабушка и умерла от этого. В четыре часа я так устала и мне так захотелось есть, что я сама напомнила об обеде. Обед был превкусный, я ела как пансионерка, а кофе принесли нам на террасу.

– Вы, конечно, захотите отдохнуть – комната ваша ожидает вас, – сказал Старославский,

вставая.

– Нет, это уж слишком! Как, моя комната? – воскликнула я таким тоном и с таким глупым выражением лица, что Старославский не выдержал и расхохотался.

– Конечно, ваша, Nathalie, и я сам провожу вас в нее.

Он препросто взял меня за руку и повел за собою, а любопытство мое было так сильно, что я не только не оказала никакого сопротивления, но, кажется, перегнала Старославского, и не пошла, а побежала вперед... Тут останавливается перо, потому что чернила так грязны и черны, что ими нельзя описать так называемую мою комнату. Возьми, Sophie, самую хорошенькую корзинку, какую, впрочем, может создать одно воображение, но, ради бога, не золотую и не позолоченную, а из vieux saхе,[34] посади в нее лучший букет цветов, и в нем, если сумеешь, устрой себе *rūduit*[35]². Обо всем прочем говорить не буду; я, кажется, видела это все во сне, и в самом ли деле существует подобный *rūduit*, не отвечаю... Знаешь ли, друг мой, что если б кто-нибудь заставил меня прочесть письмо мое, я

разорвала бы его до отправления; читай уже ты, а мне остается еще передать тебе странную историю Старославского, рассказанную им самим на террасе нашего дома – называю дом его *нашим*, потому что в минуту рассказа я называла Грустный Стан не его, а нашим и все несчастья Старославского нашими собственными несчастьями. Слушай же.

Начинаю с того, что легенда, прочитанная отцом моим и мною в древней книге, не басня, а факт, и предок мой, богатый польский пан, действительно был злейшим врагом русского боярина, предка Старославских. Похищение красавицы, дочери боярина, сыном пана, произошло на том самом месте, где ныне дом Грустного Стана, а ров в лесу, где была предполагаемая пещера, и обитель обещал мне показать Старославский; все эти места находятся в равном расстоянии от двух наших усадеб. Что же касается до явления, повторяющегося ежегодно в ночь убийства пустытника, то он сказал мне, что ужасов этих он не слышал сам, находясь каждый раз, как нарочно, вне Грустного Стана, но что поверье существует в народе до сих пор... Ужасно, не

правда ли, та счиге? Мы дали друг другу слово провести эту страшную ночь на нашем скорлупском балконе.

История предков Старославского интересна, но длинна, и потому перейдем к настоящему представителю их, жизнь которого во сто раз интереснее. Рассказ его передаю тебе точно в таких же выражениях, в каких передан он был мне.

Счастье родителей Старославского отравлено было предсказаниями, исполнившимися с такою точностью, что приписывать подобное исполнение случайности было бы действительно трудно. Но в сторону отступления, и слушай самого рассказчика.

«Кому-то из предков моих, не знаю в какую именно эпоху, – начал Старославский, – предсказано было, что брак его и всех старших членов нисходящего поколения сопряжен будет с явлением более или менее чрезвычайным. Предсказание выполнилось как над первым, так и над всеми последующими без исключения. Пропустим давно забытых прадедов и начнем с деда. В царствование Екатерины он дрался с турками и, выменяв у

одного из турецких пашей на красивую лошадь красавицу-гречанку, привез ее в Россию и женился на ней, вопреки родственному гневу всех прочих Старославских. Старшим из детей его был отец мой, вторым – дядя, бывший моложе отца годами пятью.

Оба служили недолго и, выйдя в отставку в одно время, положили не разделять наследия родительского и поселиться в Грустном Стане. Полк, в котором они служили, стоял в Польше. На пути в деревню, не найдя лошадей в одном из пограничных польских местечек, они остановились ночевать; там вечер предстоял длинный. «Есть у нас гадальщица», – сказал еврей-фактор. «Прекрасно!» – воскликнули молодые люди и, приказав указать им жилище гадальщицы, отправились к ней. В полуразвалившейся избушке, грязной, низкой и наполненной всеми необходимыми Предметами для смущения доверчивых умов тогдашнего времени, нашли они безобразную женщину с кошкой, петухом и ручным ястребом. Еврей назвал гостей и именем их обещал хороший подарок за хорошую весть.

– Дай за дурную, так будет весточка для те-

бя, – отвечала она, обращаясь к дяде. Отец попытался избавить брата от дальнейших объяснений с гадалщицею, но труд был напрасен, и дяде предсказана была смерть в день свадьбы старшего брата, то есть отца моего.

– Ты лжешь, старуха! потому что я никогда не женюсь, – воскликнул отец, бросая на стол несколько червонцев и отворяя дверь, чтоб выйти из роковой избы; но, к несчастью, старуха успела прибавить еще несколько слов, так страшно подействовавших на всю жизнь моих родителей:

– А не женишься, все-таки брата не спасешь; да берегись четверга!

Последовавшие за тем три дня проведены были братьями в дороге. Повторяя предсказанное гадалщицею, оба смеялись, и отец, для совершенного успокоения дяди, которого любил искренно, клялся ему, что чувствует отвращение к женщинам вообще и, конечно, без всяких предсказаний никогда не решился бы вступить в брак даже с первою красавицею в мире. Дядя, с своей стороны, трунил над мнимым отвращением отца, над его суеверием и в свою очередь дал отцу честное

слово, что если когда-нибудь ему покажется, что брат его избегает женитьбы, то он застрелится непременно. Тем кончились прения, и долго речь о старухе не возобновлялась между братьями. Прошли три года; жизнь улыбалась обоим. В один из зимних дней получили братья приглашение на свадьбу: соседи выдавали дочь свою за довольно богатого, но пожилого помещика. «Едем», – сказал дядя, и в тот же вечер явились они к соседям. Невеста была грустна, бледна и задумчива; жениха ожидали на следующее утро, то есть к самому брачному обряду. Протанцевав до полуночи, все разошлись по спальням. Отца и дядю поместили в самом доме, прочих кой-куда, и все улеглись. На следующее утро дядя за чаем завел с отцом моим речь о невесте и спросил, между прочим, нравится ли она ему.

– В другое время я, может быть, сказал бы «нет», – отвечал мой отец, смеясь, – но сегодня она выходит замуж, и нет причин скрывать настоящее мнение: девушка мила, умна, скромна, и, женись ты на ней, я бы поздравил себя с премилой сестрой...

– И ты все это говоришь серьезно? – спро-

сил дядя.

– Конечно, очень серьезно!

– В таком случае, – продолжал дядя, – женится на ней не жених и не я, а тот, кто внушил ей любовь искреннюю.

– Но кто же этот счастливец? – воскликнул отец, – и как ты мог проникнуть в тайны сердца невесты?

– Очень просто, – отвечал дядя, – я сегодня ночью подслушал невольно как слезы несчастной девушки, так равно и признания ее матери, плакавшей с нею вместе, но не имевшей никакой возможности спасти дочь от непреклонной воли своего мужа; предмет же любви невесты – ты...

Изумление отца моего лишило его на время способности говорить; воспользовавшись этим обстоятельством, дядя подтвердил клятву застрелиться немедленно, если отец тотчас же не решится просить у родителей руку чужой невесты.

– Неужели ты думаешь, – говорил он, – что пошлые и бессмысленные рассказы глупой старухи могли хотя на секунду показаться мне делом серьезным? И как ни проста была

баба, а все же, занимаясь ремеслом своим несколько десятков лет, не могла она не догадаться, что озадачить подобную нам практику можно было не простым обещанием счастья, а чем-нибудь разительным, новым. Вот тебе и четверги, и смерть, и все прочее! Но откажись ты от невесты – предсказание выполнится вполтину, за это уж ручаюсь я... а умирать мне, право, не хочется.

В то же утро обвенчан был отец на дочери соседа, и в то же утро дядя, никем не замеченный, скрылся из дома, а возвратился он в дом простреленный первым женихом невесты, которого встретил на пути и вызвал на смертельный поединок.

Дядя, умирая, назвал старуху, прибавил еще несколько невнятных слов, и последнее было «четверг!».

День этот сделался роковым днем для бедных моих родителей. Смерть дяди приписывали они себе, оплакивали его ежедневно и с трепетом встречали четверг каждой недели. Все попытки разуверить их в действительности предсказаний оставались без успеха, а, по прошествии нескольких месяцев, к постоян-

ному и страшному ожиданию неведомого несчастья присоединилось новое – мать моя почувствовала себя беременною, и обрадованный мгновенно отец вспомнил все-таки о четверге и стал страшиться за минуту моего рождения; на этот раз страх его был напрасен, и появление мое на свете не имело дурных последствий для матери: она выздоровела, полюбила меня страстно, и даже мало-помалу начинала если не забывать, то по крайней мере не так часто говорить о старухе. Смотря на жену, и отец казался счастливее; но с наступлением весны обманчивое солнце вызвало мать мою на балкон, и к вечеру оказалась лихорадка и кашель. Городской медик прописал лекарство и уехал; через неделю тот же медик пожал плечами, а чрез две объявил, что больная не переживет суток, то есть не доживет до пятницы... Сбылось! В четверг ее не стало... Ум отца не выдержал удара, и первые четыре месяца он смеялся слишком громко. Я был дитятей; но слуги его, вспоминая об этом смехе, содрогались. В последующие месяцы он пришел в себя и стал рыдать; слуги благодарили бога за слезы и плакали от

радости. Но минул год, и в день поминаения матери, когда дьякон произнес имя покойной, в груди отца, при возгласе этом, оборвалось что-то; он схватил себя за грудь, и в первый раз улыбнулся не так, как безумный; улыбка эта была последняя, а в пятницу, то есть на следующий день, я играл с блестящею бахромою золотой парчи, покрывавшей тело отца. Те же слуги помнят улыбку посиневших уст его и складки смеявшихся глаз, но глаз неподвижных и мутных... Улыбкой этой отвечал он, вероятно, на замогильный привет матери... Меня с кормилицею перевезли на воспитание в дом деда; он же принял под свое управление и Грустный Стан, и прочее наследство. Преимущественно занималась мною старушка-бабушка; украдкой наделяла она меня сладостями и горько плакала, когда я на вопрос, где папа и мама, указывал пальчиком на видневшийся сквозь рощу шпиль родной колокольни Грустного Стана. За слезы бабушки бранил ее дед, называл плаксивой бабой, а меня баловнем и ласкал тогда только, когда в дом его приезжали гости. Двух лет от роду, я обязан был рассказывать со всеми про-

дробностями приедем, как предсказала старуха-колдунья, что дядя умрет в день свадьбы отца, что отцу и матери страшен четверг и как одного застрелил жених, а другие умерли. В продолжение заученного рассказа дед, бывало, гладил меня по голове, называл молодцом и трепал по щечкам, дополняя детское повествование мое разными прибаутками. Гораздо позже понял я все неприличие подобной болтовни и однажды решительно отказался делать из родительских несчастий нечто вроде сказки для развлечения соседей; мне было в ту пору шесть лет. Дед с удивлением посмотрел на меня, потом прикрикнул и, топнув ногою, приказал говорить; я молчал и заплатил за послушание наказанием... вся юность моя превратилась в ряд физических и моральных страданий. Десяти лет я оплакивал кончину доброй бабки, место которой в доме деда заступила злая ключница. На четырнадцатом году меня стали учить грамоте, а на пятнадцатом я узнал, что наследие отца назначили к продаже; дед расстроил имение, продал, что мог, и отказался от опеки. Мне помнится, что в эту эпоху говорили часто о гу-

бернских выборах, и дед сердился, но за что и на кого – не знаю. Вдруг в одно утро к нам во двор въехала прекрасная карета, вышел из нее какой-то господин, и, полчаса спустя, меня потребовали в кабинет деда. «Не для того ли, чтоб рассказать приезжему о старухе и предсказаниях?» – подумал я и отправился с полною уверенностью быть наказанным за новое слушание; но я ошибся, и причина зова оказалась совершенно противоположно моим ожиданиям. Дед представил меня господину благородной наружности, который приветливо взял меня за руку и посадил рядом с собою. Он пристально вглядывался в мое лицо, и мне становилось неловко; взгляд этот проникал мне в самую душу; я вертелся на стуле, не смея поднять глаз ни на деда, ни на гостя, дед был мрачнее обыкновенного. «Чему учили его?» – спросил наконец господин, обращаясь к деду. «Всему», – отвечал тот отрывисто. Гость с подобным же вопросом обратился ко мне; я молчал; мне совестно было сознаться, что знание мое ограничивалось русскою грамотою и первыми четырьмя правилами арифметики.

– Вы поедете со мною, – прибавил гость, вставая, и, не поклонясь даже деду, он торопливо вышел из кабинета, пропустив меня вперед. Дед хотел было удержать меня в деревне еще на некоторое время, отговариваясь невозможностью снабдить меня в эту минуту всем нужным для отъезда, но господин усадил меня в карету, сел возле меня, захлопнул дверцу и закричал «пошел!».

Едва мы отъехали от крыльца дедовского дома, как господин снова взял меня за руку и с нежностью стал расспрашивать о прошлой жизни моей, об учителях, обо всем до меня касавшемся; потом убеждал приложить все старание к приобретению познаний, необходимых для лет моих; уверял в участии ко мне и в готовности быть полезным во всех отношениях и до того ободрил и расположил меня к себе, что под вечер, прибыв в губернский город, о существовании которого, впрочем, я едва ли слышал в доме деда, добрый господин уж казался мне самым близким родным. В самое короткое время я совершенно преобразовался, и участие благодетеля пристрастило меня как к нему, так и ко всем новым настав-

никам моим. Новый мир представился глазам неопытным, новые потребности возродились в душе, и ученье не только не утомляло меня, но сделалось необходимостью. Чистая и светлая комната в прекрасном доме благодетеля была отдана в мое распоряжение; все часы дня получили свое назначение, и по вечерам науки сменялись танцами, фехтованием и чтением вслух. Впоследствии уж я понял, какому обстоятельству обязан я был настоящим своим благополучием. Мне растолковали, что покровителя моего выбрало дворянство губернии своим предводителем и что поступок его со мною был одним из тех поступков, которые доставили ему репутацию благородного и благодетельного человека. Итак, я жил и воспитывался в доме нового предводителя, оставившего семейство свое в столице и пожертвовавшего целые три года на святое и строгое, как он говорил, исполнение возложенных на него обязанностей. Эти счастливые три года промчались как один день, и уж семнадцатилетним юношею обнял я в последний раз моего благодетеля, смешавшего слезы свои с моими. Мы простились; он оставил

обожавший его край, а я записался на службу в тот самый полк, в котором служили некогда отец и дядя, и, не теряя времени, отправился в Польшу. Много перемен произошло в эти три года, как собственно во мне, так и во всем, до меня касавшемся. Оказалось, что расстроенное дедом имение мое не только не поступило в продажу, но распоряжениями все-таки предводителя приведено было в порядок и доходами уплатились прежде сделанные долги. Он же, мой благодетель, выбрал мне из среды дворян попечителя и, прощаясь, обязал меня честным словом не входить самому до совершеннолетия ни в какие распоряжения по наследству, а довольствоваться назначенною им же суммою для прожитка на службе; главное же – при воспоминании о прошедшем не произносить никогда его имени. Я свято выполнил обет и, даже встретившись с ним впоследствии, не бросился в его объятия, а отвечал учтивым поклоном на равнодушное приветствие человека, забывавшего, по видимому, только одно добро, им сделанное.

В девятнадцать лет меня произвели в офицеры, а полк перешел в Россию. Не назову гу-

бернии: для вас это не интересно... Я скучал. Взвод мой расположен был в двух деревушках, принадлежавших вдове-помещице, которая говорила довольно вычурно по-французски и, улыбаясь, засыпала в гостиную, среди многочисленного общества, а скупость дошла до совершенства. Вероятно, из экономии помещица воспитывала двух дочерей своих где-то, но, говоря о них, проливала слезы умиления и превозносила девушек до небес. По воскресеньям, в числе прочих товарищей, получал я приглашения откусать, а являлся обыкновенно один. Так прошла осень, прошла зима; в первые весенние дни вдова-помещица снарядилась в путь за дочерьми, и деревушки наши потеряли с нею последнее развлечение. Не получая ответа на письма мои к благодетелю, я в свою очередь перестал писать к нему...

С наступлением первых ясных дней мая и с отъездом вдовы-помещицы за дочерьми, положение мое сделалось еще несноснее. По соседям я не ездил; всякое другое общество, выходящее из круга товарищей, страшило меня до чрезвычайности; присутствие женщин

пугало меня до того, что при появлении их вся кровь бросалась мне в лицо, и, покрасневшись, я убежал из комнаты. Сколько раз припоминал я разговоры товарищей моих с дамами, всю пошлость их любезностей и непринужденность улыбок, отвечавших на эти любезности, я спрашивал самого себя, почему я так строг к своей собственной особе и что удерживает язык мой говорить подобный же вздор? В поощрительных дамских улыбках сомневаться я не считал себя вправе, потому что наружность моя не уступала в благовидности наружности товарищей, а сверх того, французский язык давал мне страшное преимущество перед ними, употреблявшими очень часто женский род вместо мужского; произношения же и сравнивать было нельзя. Мне даже нередко казалось, что супруга нашего доктора, тридцатипятилетняя кокетка, обращалась ко мне чаще, чем к другим. Избегнуть же докторши, как избегал я присутствия прочих дам, было невозможно, хотя и прочих я избегал по какому-то неопределенному чувству, далеко не похожему на равнодушие к прекрасному полу.

Точно таким застало меня приглашение возвратившейся помещицы пожаловать к ней откусать. Записку передал слуга моему денщику, не упомянув ни слова о том, был ли кто из посторонних у помещицы, или общество наше на этот раз должно было ограничиться хозяйкой, старым дворянином-управляющим, пожилою старушкою, бедною родственницею, двумя девочками, детьми чьи-то из соседства, и мною. Облачась в сюртук и приказав оседлать лошадь, поскакал я в село помещицы. Но, о ужас! в первой комнате повстречалось мне новое лицо, и прехорошенькое; оно было очень молодо и очень свежо; девочка лет шестнадцати, вертясь, приседала так низко, что платье ее, раздуваясь, представляло фижмы. Завидя офицера, она крикнула; я обмер и побежал вперед. В гостиной, рядом с хозяйкой, второе восхитительное личико, несколько старше первого; я поклонился неловко, оглянулся назад и стал уже высматривать окно, в которое выскочил бы с радостью, но окна были заперты, и помещица отрекомендовала меня старшей дочери: я вздохнул, сломал козырек фуражки и

молча уселся в кресло. Только после супа решился я заговорить и обратиться с каким-то вопросом к одной из бедных девочек, старинной моей знакомке. Помнится, я похвалил пруд, который виднелся из двери, ведущей на балкон.

– Любите вы удить рыбу? – спросила дочь хозяйки.

– Как же-с, с большим удовольствием, – отвечал я, хватаясь обеими руками за салфетку, которую поднес было к лицу вместо платка.

Таково было начало знакомства моего с новыми лицами. После обеда меньшая дочь, прыгая, побежала за удочками; мать улеглась заснуть, а я остался с старшею дочерью.

Я пропускаю первое время и приступаю к новой эпохе – к эпохе нравственной перемены, происшедшей во мне, – продолжал Старославский, – промежуток этот я ограничиваю одним месяцем, то есть маем.

В июне приглашения покушать прекратились вовсе, и прекратились, как совершенно ненужные формы, принятые обществом для тех лиц, которые являются только вследствие приглашений: я проводил все дни у помещи-

цы и возвращался домой нередко за полночь. Все мысли мои устремлены были на один предмет, вся будущность моя ограничилась одною надеждою; короче, если когда-нибудь и в каком-нибудь краю света существовало чувство, называемое поэтами *чистою, бескорыстною* любовью, то, конечно, чувство это внушила мне старшая дочь помещицы».

– Опишите мне предмет страсти вашей как можно отчетливее, – сказала я, прерывая Старославского. Я сделала этот вопрос потому, что мне очень любопытно было знать, что приблизительно нужно, чтоб... но это вздор... посторонняя вещь...

– Извольте, – отвечал Старославский.

И вот он, портрет, его первой любви, первой страсти... Notez, ma chère![36]

Во-первых, имя ее... но что в имени? приступим к наружности: рост средний, возраст-19-ть лет, ножка и ручка очаровательны, черты лица неправильные, нос велик, может быть, даже слишком, но глаза такие, каких Старославский не встречал; улыбка удивительная; белизна кожи баснословная; коса, напоминающая косы женщин Фраскати, хотя

и не черная; во всех движениях тела какая-то нега, лень, а в голосе целый мир гармонии.

Предмет страсти Старославского, по словам его, не походил на нас, обыкновенных созданий, а отличался чем-то неуловимым, недоступным даже понятию женщины; то была ни дитя, ни женщина, ни гений добра, ни дух тьмы, а изящная смесь всего пленительного, обаятельного и пр. и пр.

«Расставаясь с нею по вечерам, – продолжал Старославский, – я уносил в сердце своем и надежду, и радость, и блаженство; а когда я возвращался к ней на другое утро, все ощущения, наполнявшие мое сердце, разлетались как дым, и холодность красавицы вливалась в то же сердце целый океан отчаяния. „Но может ли это существо любить меня? – спрашивал я сам себя, – и способно ли оно, наконец, любить что-нибудь, или назначение его иное?“ И тут ум мой начинал возноситься под облака, искать подобных ей в обителях надзвездных...»

Впрочем, рассказывая подобные вещи, Старославский заглядывал и в другие места, потемнее обителей надзвездных... Слушая со

вниманием, и... не скрою от тебя, с чувством не совсем приятным трогательное повествование первой любви моего минутного супруга, я старалась уловить в глазах его то выражение, по которому обыкновенно судят о силе впечатления, производимого рассказом на самого рассказчика. Я старалась угадать, любил ли он еще свою первую любовь или ненавидел ее, не насмеялся ли он над собою и над своим минувшим, чтоб самопожертвованием искупить заблуждение неопытного сердца, а может быть, и самое сознание его было делом расчета: желая предупредить нескромность бесстрастного свидетеля его прежней страсти, тридцатишестилетний Старославский приготавливал ум светской женщины к слушанию забавной истории его первой любви, и женщина, конечно, отвечала бы предателю: «Я знаю эту повесть: ее рассказывал мне сам Старославский; сам Старославский смеялся над собою; а, осуждая себя, не оправдывал ли он тем самым свое прошлое?» Но глаза рассказчика, казалось, не одушевлялись речью; слушая его, я как бы читала книгу, и читала ее со вниманием.

– Итак, вы очень любили молодую героиню вашу? – спросила я, – и чувство это в вас было не безотчетно, не слепо, как оно бывает у молодых людей, пользующихся первым позволением любить?...

– Нет, не слепо и не безотчетно, – отвечал Старославский, – потому что любовь моя находила отголосок во всем ее существовании. Случалось ли мне в присутствии ее увлекаться чтением поэтов, восторг мой мгновенно отражался в ее душе. Одинаково действовали на нас одни и те же сочетания звуков, одна и та же гармония, и редко какие бы то ни были замечания не оказывались совершенно схожими; короче, мы, казалось, смотрели на жизнь, на свет, на людей и на все одними глазами, дышали одной грудью и были так счастливы, что мысль о женитьбе не приходила мне на ум. Не могли ли мы проводить, за весьма малым исключением, целые дни далеко от всех, глаз на глаз? Не давал ли я ей тех нежных имен, которых не отыщете нигде? Не улыбалась ли она на мое признание в любви вечной, неизменной?... Я до безумия любил Шопена; пьесы его, разыгранные ею, с ума бы

свели самого автора, вероятно, она чувствовала их глубоко, а я... я весь был чувство. И сколько сокровищ в одном существе!

Наступила осень; начались дожди; цветы увяли, а помещица простудила бок; решено было отправиться на зиму в Москву. Я плакал, плакала меньшая сестра: ей жаль было меня; впрочем, бывали минуты, когда хорошенькое дитя и прыгало от радости при мысли о предстоящих балах, театрах, свиданьях с пансионскими подругами и катанье в санях. Все в ней было непринужденно и мило; она знала, что я люблю сестру; а этой причины достаточно было, чтоб любить меня. Старшая пользовалась обожанием меньшей.

Выпал снег; уложили сундуки, обложили ими возок, кибитку, сани; отслужили напутный молебен, пообедали в десять часов утра, надели теплые капоты, шапочки, присели на минуту, простились со мною, с дворней – и уехали! Я остался на крыльце с обнаженной головою и простоял долго и молча; к вечеру, возвратясь в деревушку, где стоял взвод мой, я почувствовал дрожь во всем теле, а на следующий день занемог горячкою: пролежал

месяц – писем не было... силы возвратились. Я сам написал предлинное послание: на него отвечали с любовью; я написал еще, и еще ответ; короче, в архиве моем хранилась когда-то куча писем, одно другого нежнее.

Но сократим рассказ (сказал Старославский, по-видимому, заметив нетерпение, с которым я слушала его). С возвращением весны возвратилась и помещица в свою усадьбу, возвратились и дочери; с ними возвратилось и мое счастье. Старшая, улыбаясь, протянула мне одну руку, меньшая – обе; в глазах ее было больше радости. Это было очень натурально: нужно ли ей было скрывать то, что происходило в сердце?

Москва расстроила здоровье предмета моей страсти: ее заставляли выезжать, танцевать, любезничать, когда ей было вовсе не до того. Бедная, похудела и побледнела. Медики предписали ей ранние прогулки, молоко и ванны. Я вставал с солнцем, и мы прогуливались вдвоем. Попечитель мой уведомил меня, что дед зовет меня к себе: я не отвечал попечителю... Недуг моей возлюбленной усиливался, а помещица спала, и все утро, и все по-

сле обеда, и всю ночь спала – а кто ж мог заменить меня у больной и из чьих рук стала бы она принимать отвратительную микстуру, как не из моих?

Однажды мне вздумалось рассеять больную охотою за дикими утками. Лодка отвезла нас на один из островков озера, принадлежавшего помещице; а я, приказав гребцам загонять к нам уток, остался вдвоем с моею больною. Мы проговорили до полуночи. Утки часто опускались стадами на самом близком расстоянии от острова, но я забыл ружье, и что ни думали загонявшие дичь об отсутствии выстрелов, а нам было очень хорошо: мы в первый раз рассуждали о будущем. Она с восторгом помышляла об окрестностях Ревеля, о прохладе морских ванн, о вечерних прогулках по песчаному берегу моря. При выгодной продаже хлеба, мать обещала дочерям свозить их куда-то на воды.

«Как мало нужно, чтобы доставить счастье существу этому!» – думал я, с восторгом слушающая мечты ее о поездке в Ревель: а Палермо с его стройными пальмами, а Сорренто с его голубым заливом, а чудный Неаполь, а Шамуни

с бесконечным ковром душистых цветов, а прекрасная Венеция, а наконец, и Грустный Стан!.. По прошествии долгой и счастливой весны жизни, как отрадно будет в родных стенах его вместе с нею безмятежно ждать и сумерек и ночи!.. Но в ту минуту, когда, обремененное долгами, все наследство родителей едва избегло продажи с публичного торга, могли я обнаружить ей свои предположения? Она была так молода и так любила меня! Надлежало ожидать, а ожидать, любя и надеясь, не верх ли счастья?

Наступила новая зима и с нею новые сборы к отъезду. На этот раз я впал в отчаяние. Тысячу раз на день брался я за перо, но писать не мог – не находил ни слов, ни выражений. Нравственные отношения наши были так близки, что пустые фразы не могли более удовлетворять меня. Говорить ей о любви... зачем? не была ли она в ней уверена? Говорить о прошлом? Прошлое не забывалось! В конце января я получил откомандировку по делам службы. Лечу в Москву. Сердце мое готово было выскочить из груди, когда с Поклонной горы я увидел золотые главы собо-

ров; но счастье не убивает: я остался жив и здоров. Переодевшись в гостинице, я поскакал к ней. Был вечер. Отыскать дом, позвонить у подъезда, спросить, здорова ли, у себя ли, и вбежать в гостиную – все это было делом минуты. Меньшая сестра с криком радости бросилась ко мне навстречу; в прелестных глазках ее даже блеснула слеза; я расцеловал бы эти глазки, но комнаты были полны гостей: на голове матери качалось перо, а плечи и руки были обнажены. Я неожиданно напал на званый вечер. Забыв обычную застенчивость, не замечая никого, я ищу ее глазами, но не вижу. «Одевается, – шепчет сестра, – ей сказали... она спешит»... Проходит пять минут, полчаса, час, сколько нескончаемых веков! Наконец вот и она! В белом платье с букетом белых камелий – и как хороша! Гости кланяются, им поклон, поклон и мне... но как же иначе? И по какому праву пал бы я к ее ногам, когда в доме званый вечер, а хозяйка дома не принадлежит ли гостям? гостиница не островок на озере!

– Как рада, что вижу вас! – говорит мне мать, только что не на ухо, – давно бы к нам, в

Москву; у нас так весело. Вы танцуете?

– Нет... да... впрочем, конечно да... и все что угодно... – пробормотал я в ответ матери, которая перешла к другим.

Первый аккорд кадрили; меньшая дочь ангажирует меня. Очень рад! Но она? Мне бы хотелось с нею...

– Сестра ангажирована на весь вечер.

– Ужасно! но делать нечего...

Еще три часа, и гости разъедутся, и тогда... Но, бог мой, как прекрасна жизнь, как прекрасна чистая любовь!»

– Любили ли вы когда-нибудь? – спросил меня Старославский, неожиданно прерывая свой рассказ.

– Продолжайте, – отвечала я рассеянно. Меня почти оскорбил вопрос его в эту минуту... И какое ему дело, любила ли я, та сшиге? Не правда ли, что вопрос был неуместный?

«Вечер кончился; на рассвете гости взяли было за шляпы... я торжествовал! Меньшая дочь стояла рядом со мною; мы смеялись, но только мой смех был непринужденный; ее же уста едва двигались, а глаза хотели плакать – так по крайней мере казалось мне.

Вдруг у двери слуга – в руках его серебряный поднос, уставленный бокалами шампанского. Зачем это? Впрочем, по-видимому, удивлялся я один; прочие гости окружили слугу и, разобрав бокалы, обратились к кому-то. Смотрю: хозяйка кланяется... кланяется и старшая дочь... пусть себе!.. но кланяется и третье лицо – пожилое, обернутое в белый галстух...

Да чему же и удивляться?... То был жених старшей дочери, а в тот вечер пили здоровье обрученных; гости знали и не удивлялись... я узнал... и выехал из Москвы через час...»

– И вы не презираете вашей возлюбленной, мсье Старославский? – воскликнула я вне себя от негодования.

– Презирать? – повторил он, смеясь. – Полноте, да за что же? Объяснилось, что у жениха дом, и дом с лавочками; сверх того, деревня и несколько паев по откупам – жених выгодный! Мать упростила дочь пожертвовать собою для блага меньшей сестры, которой, по словам матери, присутствие старшей мешало сделать партию. Она проплакала целую ночь и, так сказать, пожертвовала собою для блага сестры. Я встретил ее три года спустя, в той

же Москве (прибавил спокойно Старославский); она показалась мне очень довольна своей судьбою. То, что принял я за любовь и страсть ко мне, было не что иное, как желание угодить матери скорым замужеством, при помощи необыкновенной способности принаравливаться ко всем характерам. Например, я любил Шопена, она играла пьесы его неподражаемо. Супруг ее страстен к русской литературе и к яблоням: юная супруга восхищается произведениями первой и сажает вторые. Разумеется, первое время разочарования моего казалось мне тяжким, невыносимым; но, по здоровом размышлении, я нашел, что едва ли не сам я был виноват... Однако довольно, – сказал Старославский вставая, – солнце село, а употреблять во зло терпение ваше я не считаю себя вправе.

– Но рассказ ваш не кончен, – воскликнула я, – в нем недостает нравственного заключения.

– А я и не подумал о нем! – отвечал, смеясь, Старославский.

– Хотите, придумаю я?

– Чрезвычайно обяжете!

– Извольте. Заблуждается тот, кто не допускает в женщине чувства истинного, бескорыстного и полного самоотвержением.

– Не понимаю, – заметил Старославский, – как все это вывели вы из моего рассказа?

– Надеюсь, что я права.

– Объяснитесь, ради бога.

– Вы забыли легенду?

– Все-таки не понимаю.

– Странно!

– Но что же общего между легендой и поступком молодой девушки?

– Она не могла и не должна была поступить иначе.

– Ужасно, если слова ваши не шутка...

– Если она была уверена, что любовь к ней могла со временем составить несчастье ваше, то не должна ли она была, для избежания этого несчастья, отдать себя другому, может быть, менее, как говорят, для нее интересно, но, вероятно, порядочному человеку?

– Как мое несчастье? – воскликнул Старославский.

– Конечно, ваше.

– А страсть моя к ней, эта беспредельная

страсть?

– Но к чему же бы повела она, эта беспредельная страсть?

– К продолжительному, может быть, вечному благополучию.

– Оно было невозможно для бедной девушки: жениться на ней вы не могли.

– Я... я!

– Вы, вы, старший в роде. Что же было бы чрезвычайного в вашей женитьбе на дочери помещицы? Легенда не допустила бы вас до этого.

– Вы смеетесь надо мною, – сказал Старославский, почти обиженный продолжительною моею мистификациею, – впрочем, я так самолюбив, что не стану скрывать свои убеждения: я верю в легенды!

– Не исключая страшного явления сентябрьской ночи? – спросила я, улыбаясь.

– Не исключая.

– Разочаруйтесь: его не будет, этого явления!

– Новая мистификация!

– Нет, но не должно ли было прекратиться оно, по соединении двух враждебных поколе-

ний? – заметила я, продолжая смеяться.

– То есть вашего с нашим посредством брака? – прибавил Старославский.

– Вы забыли роль мужа и тем даете мне право на развод.

– Согласен возвратить вам свободу, графиня, но с условием.

– С каким?

– Вы торжественно возвратите мне права мои на вас двадцать восьмого сентября.

– То есть по возобновлении тех ужасов, которым вы так наивно верите? Согласна и от всего сердца, – отвечала я Старославскому, протягивая руку, которую он поцеловал – впрочем, в первый раз, та сниге.

Я долго еще не могла удержаться от смеха, смотря на моего будущего супруга, – так забавно казалось мне уморительное суеверие такого умного человека, каков Старославский. Как бы то ни было, но день, проведенный в Грустном Стане, был приятный и поэтический день.

Тот же тильбюри домчал нас в несколько минут из Грустного Стана в Скорлупское. На пути Старославский предлагал мне остано-

виться близ того самого места, где, по преданию, разыгралась кровавая драма пустыннока и молодого пана; но мне сделалось так страшно, та сшиге, что я отказалась от всей поэзии преданий, просила ускорить бег лошади, тем более что позади нас неоднократно показывалось на дороге что-то очень большое. Сам Старославский, принимавший сначала уверения мои за панический страх, увидев этот предмет, терялся в догадках. Что, ежели это был медведь? Какой ужас, та сшиге! Около полуночи мы достигли скорлуповского проспекта, и на повороте встретил нас отец. Признаюсь тебе, я ожидала нагоняя, но все кончилось как нельзя лучше: папа не оказал ни малейшего неудовольствия, а напротив, был очень любезен и, по свойственной ему деликатности, даже не спрашивал, что удержало нас в Грустном Стане так долго.

У крыльца Старославский раскланялся и пустился в обратный путь, а мы с отцом вошли в дом. В продолжении всего ужина мы проговорили про Днепр. Я хотя и ничего не понимаю в хозяйстве, но надобно думать, что работы, предпринятые отцом, очень важны,

потому что они до крайности занимают его ум. Большую часть времени проводим мы в обществе «ученого», как называет машиниста Жозеф. Впрочем, подробнейших сведений о предприятии отца дать тебе не могу, все это не совсем доступно моим слабым понятиям. Кажется, имеют намерение поднять реку так высоко, что Скорлупское превратится в полуостров, и вода силою своею должна будет пилить доски, молоть муку, делать гвозди, даже нитки и холст или что-то вроде этого... Вообрази себе, что огромные и длинные деревья вколачивают в землю для того, чтоб вода остановилась, и строения больших размеров все почти готовы. На меня же возложено угощение рабочих по праздничным дням, что я и выполняю тем с большим удовольствием, что всякая новая забава, мною придуманная, принимается добрыми крестьянами с неподдельною благодарностью; главная же из всех забав состоит в хороводах, на которые сходятся из окрестностей все женщины и девушки. В первые дни я постичь не могла, как может казаться приятным этот национальный танец и есть ли какая-нибудь возможность про-

ходить целый вечер, взявшись за руки и не сказав друг другу ни одного слова; но теперь все это меня больше не удивляет, и я убедилась, что с простотою нравов могут согласоваться только одни простые наслаждения, по свойствам своим близкие к природе.

Trkve de philosophic,[37] друг мой! устала ужасно и повторяю, что писем моих перечитывать не стану... тоска! Погода портится; прощай лето! Где будем зимою – не знаю и не спрашиваю. Чего хочу – и этого не знаю. Странное влияние имеет деревенская жизнь на женскую натуру! Веришь ли, что в настоящую минуту спроси меня кто-нибудь, желаю ли я переехать в столицу, ведь тот же будет ответ – не знаю и не знаю! Прощай, боюсь сказать более!

Часть вторая и последняя

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Решено, друг мой: мы остаемся в деревне до первого снега. Я не в отчаянии, потому что никогда еще не встречала зимы посреди лесов и даже не имею понятия о так называемой умирающей природе.

Сравнивая столичные письма твои с моими деревенскими, я начинаю думать, что или ты умышленно сокращаешь свои, или глушь представляет гораздо более предметов для описания, хотя в эту минуту берусь за перо и не знаю, с чего начать. Однако не радуйся и не думай, что говорить не о чем; напротив, за предметами для рассказа дело не станет. Во-первых, вторичное посещение поэтических родственников, со всеми остальными членами драгоценного семейства Агафоклеи Анастасьевны Грюковской, не исключая ее самой. Во-вторых, предшествовавшие приезду их происшествия чрезвычайно оригинальны в своем роде; потом... потом... Но по порядку

начинаю с происшествий. На другой день после поездки моей в Грустный Стан к нам приискал от Грюковских посланный с письмом, адресованным на имя отца. Представь себе наше удивление, chigreamie: Агафоклея Анастасьевна, уведомляя нас в самых отчаянных выражениях о непонятной болезни Купера, просила папа выслать к ним немедленно Жозефа, прибавляя в постскриптум, что на одного Жозефа возлагает нежная мать всю свою надежду.

«Она сошла с ума», – воскликнул отец и приказал позвать посланного. Из слов последнего мы узнали, что Купер занемог в ночь очень странным образом – так выразился слуга Грюковских: «Отлучался куда-то верхом; на вопросы старой барыни: где был и куда ездил, молодой барин отвечать не изволил, а ездил, должно быть, далеко, потому что лошадь возвратилась измученная, и наконец молодой барин сказал маменьке: „Пошлите за тем французским доктором, что живет в Скорлупском, а других лекарей не хочу“, вследствие чего и прислан он, посланный за Жозефом. По свойственной отцу доброте, он готов был тот-

час же отправиться к Грюковским, но, не знаю почему, мне не хотелось, чтоб папа ехал: я была внутренне убеждена, что болезнь Купера далеко несерьезна, и потому упростила отца остаться. Мы снарядили Жозефа и снабдили его всеми лекарствами, находившимися в доме. На другой день, подходя к толпе работавших близ Днепра крестьян, мы крайне удивились, увидя среди них Жозефа. „Уже воротился?“ – спросил его отец, Жозеф махнул рукой и, повернувшись в другую сторону, принялся снова за работу; на добром лице, его выразилось негодование. Отец прошел далее, а я, более любопытная, подошла к французу, закидала его вопросами: „Allonsdone, ma chatelaine, ne vous faites pas du chagrin a propos de ce farceur d'Adonis; je n'en voudrais pas pour soigner mon chien ne vous dйplaise, non seulement...“ [38] На этом слове Жозеф остановился безмолвный, почти гневный, и не переставал пожимать плечами и качать головой. Не удовольствовавшись лаконическим ответом Жозефа, я просила папа употребить всю власть над ним, но и это средство имело не более успеха, и все, что нам

удалось узнать от него, было то, что Купер здоров. В этот день мы обедали вдвоем, а после обеда явился Старославский. Вечер прошел приятно и скоро; предметом разговора был Кавказ; сосед наш провел на Кавказе несколько лет сряду и с различными отрядами делал прелюбопытные экспедиции. Старославский обладает необыкновенным даром слова; рассказ его легок и нимало не утомителен, что встречается очень редко; сверх того, он скромнен без излишества и очень ловко избегает всех случаев говорить о самом себе. От Кавказа разговор коснулся многих лиц, которых отец знавал когда-то и очень ими интересовался. К удовольствию моему, я узнала в этот вечер, что Старославский не совершенно чужд отцу и что даже папа знавал родных Старославского, в особенности же старика деда, о котором Старославский говорил мне в Грустном Стане. Я и забыла сказать тебе, сниге аміе, что дед этот все богатство, нажитое им во время управления имением Старославского, оставил ему же. Как после этого не согласиться, что судьба бывает иногда справедливейшим из судей?

На этот раз сосед остался с нами ужинать и позже обыкновенного уехал домой.

Проходя в свою комнату, я встретила Жозефа; он сделал движение, изменившее его тайным намерениям. Жозеф хотел спрятаться от меня и видимо смешался, когда я предупредила это намерение, загородив ему дорогу. «Je voudrais dire deux mots au gйnйral», [39] – проговорил он, стараясь все-таки уклониться от меня; мне страх хотелось спать, и я скоро отпустила несчастного Жозефа. Только на следующее утро, за чаем, узнала я от отца, каким странным недугом одержим был милый родственник наш, Купер, и какой помощи ожидала мать его от французского доктора Жозефа. Доктору предлагали плату за посредничество между влюбленным поэтом и моим сердцем; а заболел поэт от негодования, что увидел меня в тильбюри с Старославским, который на возвратном пути в Грустный Стан, подметив Купера в кустах и, вероятно, узнав его, шепнул что-то груму; грум дал волю своему скакуну и, конечно, не замедлил бы настичь поэта, если б последний не обратился в бегство. Не полагаю, чтоб Старославскому

известен был результат полуночной скачки груга с поэтом, но узнал Жозеф от слуги Грюковских, что молодой барин попал в страшное болото, из которого вынут был на утренней заре лесничими Старославского. Я уж не говорю про себя; ты меня знаешь, та шиге; но папа, этот редко улыбающийся человек, хохотал до слез, передавая мне рассказ Жозефа, с которого, впрочем, поэт взял слово не изменять ему и хранить происшествие в тайне.

Я надеялась, по крайней мере, что первая неудача охладит нежное чувство его ко мне и мы лишимся удовольствия видеть его в скором времени в Скорлупском; но поэт думал иначе, и – о несчастье! – едва мы вышли из-за стола, как знакомая коляска подъехала с ужасным звоном к крыльцу, а за нею еще экипаж и еще – значило, вся семья. Как водится, сначала крик, потом шумный и всеобщий говор, поцелуи, нежности и обед со всеми суе-тами, со всеми беспорядками и неудачами... Нет, друг мой, и деревенская жизнь имеет премного неприятного; одного подобного соседства слишком достаточно, чтоб бежать, не оглядываясь, не только обратно в столицу, но

и на край света. Не знаю, предубеждение ли, последняя ли глупость Купера и его матушки, но в этот раз и сам поэт и Антонина показались мне еще приторнее, еще несноснее; я дала себе слово ни мало не жениться с ними, хотя бы от того последовал совершенный разрыв.

– А я к вам с просьбою, mon cousin,[40] – сказала Агафоклея Анастасьевна, обращаясь к папа, – племянник мой, прибывший издалека, просит у вас позволения поохотиться некоторое время на ваших дачах. Он премильный человек, друг моему Куперу, был военный, да оставил службу по домашним обстоятельствам и поселился в деревне; у него душ двести, – прибавила Агафоклея Анастасьевна, бросив на меня косвенный взгляд.

Отец, разумеется, отвечал, что очень рад; а я не выдержала и, с намерением побесить гостей, заметила папа, что право охотиться в лесах наших предоставлено Старославскому и что разрешить другим может один он... Нужно было видеть, какой эффект произвели слова мои, не только на старуху, не только на Купера и Антонину, но на самых меньших

членов семейства.

– Mais qu'est ce que c'est vraiment que ce Staroslavsky?[41] – шипела одна.

– Mais c'est un trouble-fkte que cet homme!
[42] – кривляясь, говорила другая.

Купер в это время кусал губы и лукаво переглядывался с Антониною, которая рвала на себе косынку, бледнея от злости. Отец, погрозив мне украдкой пальцем, успокоил общество, уверив, что Старославский, без всякого сомнения, почтет за удовольствие быть в числе прочих охотников и даже предложит свои дачи...

– И болота, – прибавила я, взглянув на поэта, лицо которого вспыхнуло.

– Но сын мой не стреляет, графиня! – перебила Агафоклея Анастасьевна язвительным тоном.

– Из ружья, хотите вы сказать, матушка; но из пистолета очень недурно, верьте, – воскликнул Купер.

Не знаю, чем бы кончился разговор, начинавший принимать грозное для меня направление, но папа вмешался в него, и все надели спокойные маски; у всех, кроме, разумеется,

меня с отцом, гнев вошел в глубину сердца.

Вечером, для избежания новой тоски, я предложила прогулку и с отвращением должна была принять руку Купера. Разговор вначале был общий: те же мадригалы, тот же цветистый язык – все то же, что было говорено в начале знакомства нашего; но общество мало-помалу отделилось от нас, и я не ошиблась, ожидая услышать наконец что-нибудь новенькое.

– Графиня, – сказал поэт торжественно (заметь, та сниге, что в первый раз *титул мой* заменил нежное *та cousine*[43]), – я предвидел все, и мне прискорбно было бы думать, что вы ошиблись, ежели не в сердце, то в уме моем...

Я взглянула на Купера и ждала продолжения речи: вступление обещало много забавного, и продолжение не замедлило.

– Есть симпатии, графиня, которых исход дает эстетическим свойствам души человека иное убеждение, иное направление, – продолжал, воспламеняясь, поэт, – и нередко на самом повороте жизни человек превращается в злодея; но за что же, скажите? – Поэт перевел

дыхание, а я вспомнила о болоте и начала кашлять, чтоб не расхохотаться.

– Вы смеетесь? – проговорил Купер протяжно, – слух ваш сроднился с отчаянным воплем глубоко тронутых, и для него равны и лепет младенца, и рев тигра; окаменел этот слух от пламенного дыхания лести, от заблаговременно вымышленных фраз, от страстных уверений, от...

– Скажите мне, mon cousin, – перебила я его, – кто таков ваш родственник, который желает здесь охотиться?

– Какой быстрый переход, кузина!

– Но я полагала, что вы кончили.

– Не сказав ни слова...

– В таком случае я слушаю.

– Нет, кузина, поздно! Родственник же мой, или, лучше сказать, друг, впрочем, нисколько на меня не похожий... в нем все материализм, какой-то сухой взгляд на аксессуары жизни! впрочем, он умеет чувствовать и понимает честь.

– Но кто же он?

– Гусар, наездник, добрый мальчик, жуир!

– Как жуир?

– Слово тривиально, это правда, но оно означает страсть к наслаждениям мира осязаемого, не умственного. В эту минуту мне нужен друг, мне необходим он, как существо, на которое можно положиться с уверенностью, что оно не изменит, не предаст, а отмстит, разумеется, в то время, когда рука моя не в силах будет более мстить, – впрочем, и за себя отчасти!

– Мстить? кому мстить? – спросила я, продолжая не понимать поэта.

– Кому... кому? – повторил Купер с самодовольною, горделивою улыбкой, – тому, графиня, кто питается кровью сердец, кто дни свои считает победами над неопытными, над ослепленными его коварством... короче, тому, кто самодовольно стал между им и его счастьем и в то же время между мною и моим счастьем.

Из всего этого я поняла, что поэту хотелось назвать своего соперника, своего злодея, которого, я полагаю, узнала и ты; но я дала себе слово помучить поэта.

– А какого рода охоту предпочитает родственник ваш, mon cousin? – спросила я с ви-

дом совершенного равнодушия.

– Не знаю, графиня, и, по совести, мало интересуюсь этого рода занятием.

– Я же, напротив, ожидаю приезда вашего родственника с нетерпением и обещаю себе очень много удовольствий; во-первых, продолжительные прогулки верхом...

– И в тильбюри... – лукаво прибавил поэт.

– И в тильбюри, – повторила я, как бы не понимая иронии Купера, – но не в моем, который страх беспокоен, а в тильбюри Старославского, если только он будет так любезен, что предложит его мне.

– О, за Старославского я ручаюсь! И, конечно, графиня, он так любезен, что не сделает из вас исключения.

– Не понимаю, *mon cousin*.

– Я хотел сказать, графиня, что считаю соседа нашего учтивым до такой степени, что он сделает для вас то, что делает для других.

– То есть не откажет в тильбюри?

– И даже будет сопутствовать лично во время долгих прогулок, – прибавил язвительно поэт.

Я сначала никак не могла понять, к чему

клонила двусмысленная улыбка Купера и что находит он чрезвычайного в весьма обыкновенной любезности светского человека, предлагающего дамам и свой экипаж, и свое общество во время прогулки; потом уж мне пришло в голову, что поэт желал, конечно, возбудить ревность мою к своей сестре Антонине, которая, вероятно, пользовалась неоднократно и тем и другим; но, желая продлить маленькие терзания моего cousin, я заметила, что не имею намерения мешать и другим в удовольствии кататься в тильбюри Старославского и буду пользоваться им только тогда, когда Антонина предпочтет седло.

– Антонина! – воскликнул надменно поэт, – сестра в тильбюри Старославского! какая мысль!

– Но я полагаю, что это случилось бы не в первый раз, – отвечала я тем же тоном. Я начинала сердиться.

– И вы могли подумать, что сестра позволит себе такую вещь, графиня? – возразил Купер с возраставшим негодованием.

К стыду моему, этот глупый вопрос вывел меня совершенно из терпения, и я очень се-

рьезно заметила поэту всю неловкость его замечания. Мне казалось, что образ моих действий не мог быть неприличным для Антонины. Поэт смешался, пролепетал что-то непонятное и извинился тем, что не знал ничего о прогулке моей с Старославским; иначе, конечно, не позволил бы себе ни одного нескромного слова. Я едва не напомнила ему болота, но мне жаль стало бедного ревнивца, и я удовольствовалась его замешательством.

Мы, уже молча, догнали остальное общество и, поблагодарив Купера за согнутую его руку, я предложила свою юной и розовой Елене; поэт же присоединился к Антонине, и я убеждена, что предметом продолжительного разговора их была я, а может быть, и Старославский.

Елена представляла собою тип совершенно отличный от старшей сестры своей; тип этот, конечно, не встречался тебе, та сшиге, ни разу в продолжение целой твоей жизни, потому что он образуется единственно в деревнях и губерниях, преимущественно отдаленных от столиц. Елена не понимает ничего; с криком детской радости бросается она на

васильки, срывает их, целует, прикалывает к платью, вплетает в волосы, и не ходит, а перепрыгивает от одного предмета к другому. Для Елены выписывает мать «Journal des Enfants» [44] с раскрашенными картинками; а завидя вдали корову, козла или собаку, двадцатидвухлетняя девушка с воплем и трепетом бросается на грудь матери и целует пренежно ее ручки; она называет корову коровкою, а мать – *мамахиной* или *мамошкой*. Елена с восторгом рассказывала мне, что у них в деревне братец, то есть Купер, устроил для нее маленький садик, провел через садик маленький ручеек, поставил маленькую скамеечку, и что в этот садик так страшно было ей ходить сначала одной, потому что из садика видно кладбище, но потом она понемножку приучилась ходить в садик одна, но что ночью все-таки ни за что не пойдет, тем более что мамошек боится воров, которые, говорят, очень сердиты и нехорошо поступают с молоденькими девушками. Вот а реу pris[45] разговор мой с Еленою, которая робка, как газель, но во сто крат ее массивнее. В образе воспитания молодых девиц семейства Агафо-

клеи Анастасьевки я советовала бы переменить одно, а именно: покрой платьев узких, не соответствующих полноте форм, а главное, слишком коротких, потому что ноги девиц, таские, решительно не женские; прибавь к необъятной величине ног ботинки песочного цвета – и ты получишь пренеприятное целое.

Вместо чая в этот вечер проглочено было девицами невероятное количество кислого молока и огурцов с медом (еще неизвестное для тебя лакомство), а после молока Антонина взяла меня за руку и шепнула мне на ухо, что умоляет поместить кровать ее в моей спальне и что она, Антонина, имеет сообщить мне, ее другу, ее обожанию, нечто необыкновенно интересное. Разумеется, я тотчас же выполнила желание обожающей особу мою кузины, во весь вечер избегала всякого tete-a-tete[46] с поэтом и просидела с меньшими сестрами, показывая им кипсеки, которые должна была объяснять, – так мало сведущи во всем юные дочери Агафоклеи Анастасьевны! Разумеется, при виде церкви святого Петра Елена спрашивала сначала, где церковь святого Петра, а потом с визгом изъясляла

желание быть в церкви святого Петра; при виде швейцарских пейзажей Елена изъявляла желание быть в Швейцарии... и так далее. Антонина в это время слушала тихо говорившего с ней Купера и, улыбаясь, чертила пером какой-то мужской профиль. Агафоклея Анастасьевна рассказывала отцу длинный процесс свой с каким-то князем, и бедному отцу, ручаюсь, было очень скучно. Так прошел бесконечный вечер, и в одиннадцать часов доложили об ужине. Во всяком другом случае я поблагодарила бы судьбу за окончание дня; но вспомнила о предстоящей конфиденции друга моего, Антонины, и мне стало скучнее прежнего. Не думай, та сшиге, чтоб деревенские ужины наши походили в чем бы то ни было на ваши случайные, петербургские – нет, мой друг, в провинции вечерний стол есть самое отчетливое повторение обеденного: он начинается супом, за которым следует ряд мясных и рыбных блюд, несколько entremets[47] и все заключается так называемым пирожным. Желая следовать всем местным обычаям, папа очень строго приказал мне высмотреть у Грюковских, чем кормят го-

стей, и тот же порядок заведен у нас; овальные же стаканчики, подаваемые обыкновенно после обеда, вовсе исключены из программы необходимых вещей; на этого рода потребность смотрят у нас весьма неблагоприятно, и называется она неопрятностью, даже чванством; уж это не знаю почему! В минуту всеобщего расставанья Купер попытался было предложить мне ночную прогулку, вроде той, о которой я когда-то писала тебе, но я решительно отказалась – *j' en ai assez*, [48] он с надутым лицом вышел вон из комнаты, а мы с Антониною, разведя всех по очередно по спальням, отправились наконец к себе. Выпросив у кузины полчаса времени, я заперлась в кабинете и посвятила минуты эти на то, чтоб поговорить с тобою, *chigé amie*. Бог мой! зачем не придет тебе счастливая мысль приехать к нам, в Скорлупское, хотя на несколько дней? Право, сделай это: ты вдоволь посмеешься.

Летопись мою продолжаю без предисловий, *chigé Sophie*, боюсь позабыть некоторые подробности, которые необходимы. Ночные конфиденции Антонины – вот они, слушай (я

могла бы кончить одним словом, но позволю мне передать тебе их во всей подробности. Сохрани, пожалуйста, письма мои, и когда-нибудь, перечитывая их, мы посмеемся вдвоем). Антонина упростила меня лечь, сама же накинула на себя род кофты и уселась у меня в ногах. На кухне белье домашней фабрики; оно, по словам ее, обходится очень дешево; но бог с нею, пусть она носит его, а оно очень нехорошо! Итак, я расположилась слушать и боялась заснуть; вышло противное: я не спала вовсе. Вступлением в конфиденцию был вопрос: «свободно ли мое сердце».

– Совершенно свободно, – отвечала я.

– Не может быть.

– Почему ж?

– Потому что не может быть.

– Право, свободно.

– А я говорю, что это решительно невозможно.

– Но почему ж, бог мой?

– Потому что я знаю.

– Что?

– Я знаю, что вы любите, Nathalie, и любите человека, недостойного вас, человека без-

нравственного, смеющегося над слабостями женщин, смотрящего на них глазами вампира, короче – Старославского. Будет время, и вы узнаете короче это существо, и дай бог, чтоб опыт этот не стоил вам дорого.

– Но успокойтесь, Антонина, я совершенно равнодушна к извергу вашему; я едва его знаю.

– Вы говорите неправду, вы скрываете.

– Нимало.

– Вы скрываете! – кричала кузина, сжимая с жаром мою руку, – он успел уже поработить и ум, и волю, и сердце ваше...

– Какая химера!

– Нет, Nathalie, не химера, а истина; и если б вы знали... Но оставим покуда Старославского: есть обстоятельства, есть вещи, которые мне ближе к сердцу, и о них хочу говорить с вами, мой ангел. Послушайте, кузина, скажите мне откровенно: может ли тронуть вас истинное, бескорыстное чувство, способны ли вы оценить настоящую любовь?

– Без сомнения, – отвечала я, приготавливаясь внутренне к декларации Купера устами Антонины.

– Что дала бы я за уверенность, что слова ваши истина!..

– Поверьте, Антонина, что главное свойство мое – откровенность, и особенно в тех случаях, где обстоятельства того требуют.

– Если так, то я оживаю духом, оживаю надеждою и начинаю обожать вас еще более, кузина, – воскликнула Антонина, бросаясь целовать меня. – Ах, если б вы знали, какую новую жизнью заставляете вы биться мое сердце!

– Но вы не кончили? – заметила я, страшась излишней радости Антонины.

– О, что остается сказать мне, ничтожно в сравнении с тем, что уже высказано; и если вы признаете себя свободною, если сердце ваше способно оценить истинное чувство – все кончено!

– Однако.

– Нет, нет, кузина! вы уже знаете сами, вы слишком умны; мы понимаем друг друга. О, как я счастлива!

– Все это прекрасно, Антонина; но точно ли мы поняли друг друга?

– Надеюсь!

– Я нет.

– Не верю.

– Напрасно, потому что, по совести, ничего не понимаю.

– Точно?

– Точно.

– В таком случае, кузина, извольте, я объяснюсь; но если замечу, что вы, слушая меня, станете платить за откровенность мою скрытностью, предупреждаю, разлюблю вас вовсе; между нами не должно быть ни стыдливости, ни тайн... Мы знакомы недавно, Nathalie, это правда; но нужно ли долгое знакомство, чтоб сделать о людях правильное заключение?

– Потом...

– Следовательно, с умом вашим вы уже сказали себе: «Антонина сумасшедшая, взбалмошная; вся жизнь ее сонм несбыточных мечтаний, радужный букет идей, цветов нездешнего мира... она слишком выпренна для земли; назначение ее – пространство, эдем духов и проч.» Ведь вы уж все это сказали о бедной Антонине, и вы правы, Nathalie: Антонина такова; она это знает, знает и то,

что душевную жажду ее не утолят люди, что пылающих стремлений и сердечного голода не насытят люди... но да свершится! в сторону несчастную и перейдем к другим, более, может быть, достойным.

– Перейдем, *ma cousine*...

– О, да! перейдем! – повторила Антонина с восторженною улыбкою, сквозь которую проглядывала пара испорченных зубов, – не назначены ли мы к достижению высокой цели творения? да, будем по крайней мере сподвижниками чуждого достижения, перейдем... перейдем...

Послушай, *Sophie*; положим, что сельские удовольствия наши не могут завлечь тебя в наши края; но ты, обожающая все смешное, неужели ты не находишь, что Антонина, одна, отдельно от всего прочего, стоит того, чтоб тотчас же приказать укладываться, отправиться в двухнедельный отпуск и прилететь ко мне на помощь? Но Антонина ведь прелесть что такое! Грустно не иметь таланта рисовать так хорошо, чтоб изобразить это существо, назначенное к достижению высшей цели, эту сподвижницу чуждого достижения, с

ее душевною жаждою, с голодом, которого люди насытить не могут, с тонкою косою, перевязанною ниткою, с толстым грубым басом и этим небесным взглядом... Но слушай... мы перешли к теме, кому доступно блаженство.

– Я не долго жила, – продолжала Антонина, – но все дни мои обозначались новыми убеждениями; с ранней весны постигла я (то есть Антонина), что страсти людей порабощены материальностью, что в слабых существах (то есть в нас с Антониной же) ищут не высокого душевного наслаждения, а унизительного чего-то; при одной мысли этой вся кровь моя приливается к сердцу, и, как лютыми волнами, наводняется оно горечью и отчаянием. Еще ребенком, спрашивала я сама себя (то есть все-таки Антонина), где же искать их, этих существ, о которых нашептывает нам самосознание? где страна благословенная, страна избранных? существуют же они... они должны существовать!.. В такой мучительной борьбе с собою провела я несколько лет (по моему расчету, лет этак около десяти) и наконец достигла цели...

– Как, ma cousine, вы нашли такое суще-

ство? – спросила я, внутренне радуясь за Антонину.

– Да, нашла, – отвечала она таинственно и величественно, – я нашла избранного...

– Как же вы счастливы, та cousine! – невольно воскликнула я, надевая на плечи счастливицы спавшую с них кофту.

– Счастлива, счастлива! – проговорила Антонина, – но надолго ли?

– Почему же не надолго?

– Почему? потому что другой путь назначен ему свыше, потому что с другим источником должна слиться его жизнь и всем этим насладится другое существо, другая женщина – таков предел, и я смиряюсь перед ним!

– И вы не завидуете этому другому существу, Антонина?

– Вы этого не думаете, мой ангел, – отвечала кузина, качая головой.

– Но я не вы и, к стыду моему, так много совершенств не в силах были бы оценить ни умом, ни сердце.

– Но кто же мешает вам?

– Что это?

– Приготовить себя.

– Но к чему?

– К жизни возвышенной, к миру духовней поэзии...

– Достойна ли я?

– Вы, вы! Nathalie!

И при этом возгласе глаза привилегированного существа начинали уже разгораться, а из уст этого существа, так мне и казалось, что выскочит предложение руки и сердца Купера. Но минута была неудобна для меня; потом я разочла, что отказ мог бы превратить привилегированную в кошку, а по превращении сподвижницы к достижению мира невидимого, небезопасно было бы мне оставаться с нею глаз на глаз; сверх того, почему не продлить удовольствия, которое ни в каком случае возвратиться не могло? Подумав так, я отдала развязку, обещав измерить свои интеллектуальные способности, и очень ловко навела разговор на Старославского.

На чем могла основываться антипатия Грюковских к соседу нашему? И зачем относиться о нем так дурно, называть Старославского извергом, безнравственным человеком, существом, как выразился поэт, считающим

дни свои победами над неопытностью, и, что больше всего меня интересовало, не отказывающего ни одной женщине как в тильбюри, так и в собственном своем обществе? Неужели такой отзыв основан был на равнодушии Старославского к выпреним, духовным свойствам избранных братца с сестрицею? А месть?... я было и забыла про месть Купера, и в особенности того родственника-жуира, который должен был скоро явиться на помощь Куперу. Все это положила я себе извлечь из сердца Антонины; а чтоб успеть в моем предприятии, надлежало оставить нежной кузине полную надежду на успех в деле, к которому приступила она так *поэтически-перфидно*.

Ты видишь, та сине, что дар выражаться красноречиво восприимчив...

Едва имя Старославского было произнесено мной, как выражение лица Антонины совершенно изменилось: брови сдвинулись, небесная улыбка исчезла вовсе, и самые уста покривились на сторону.

– Верите ли, кузина, – сказала она, поднося сжатую руку к переносице, – каждый раз, что имя это касается до моего слуха, со мной про-

сто дрожь?...

– Отчего же?

– Отчего... отчего!.. Вы не разгадали еще Старославского, вы не имели случая узнать его коротко...

– А вы, кузина?

– Я! Но кто же был с ним в теснейших отношениях?

– Право?

– Надеюсь.

– Расскажите, пожалуйста, сниге Antonine: мне так любопытно слышать все это. Впрочем, может быть, поздно, и вы хотели бы заснуть!

– Я! хотеть заснуть? Как же дурно вы обо мне судите, друг мой! Заснуть? Но спросите, сплю ли я когда-нибудь и доступно ли мне материальное спокойствие?...

Я перепугалась нового вступления вечнобдящего существа на поднебесный путь, с которого она неохотно сходила на землю, и, не дав ей разлететься, перебила вопросом, когда именно Антонина познакомилась с соседом?

– Несколько лет назад, – отвечала кузина, –

мы потеряли папашу в Тамбове и, оставшись совершенно одинокими, переехали в здешнюю деревню, которая принадлежит мамаше. Убитая горестью, мамаша понесла все бремя хозяйства, а Купер возложил на себя священную обязанность нашего воспитания. Старославский был в то время на Кавказе и редко наезжал в свой противный Грустный Стан – противный потому, что я вспомнить его не могу равнодушно.

– А вы были в нем?

– Нет, но все равно; по описаниям я воображаю, что это такое!..

– Потом, кухня...

– Потом, очень натурально, мы стали разузнавать, кто живет по соседству; нам назвали многих, в том числе и его. Вслед за тем управляющий или приказчик, одним словом, кто-то такой, затеял с мамашею спор о какой-то земле; вообразите, даже жаловался на мамашу в городе, и к нам приезжали разные чиновники с бумагами – пренеприятно! Мамаша решила сама написать Старославскому, описывая подробно все дело и прося его очень любезно кончить спор. Как же вы дума-

ете, та cousine, поступил Старославский? Правда, письмо его было очень любезно и мило написано, и, сколько я помню, он отдавал в мамашино распоряжение все свои оранжереи с цветами и фруктами, конечно, потому, что сам ими пользоваться не мог; но все-таки спор продолжался, и мы впоследствии были даже вынуждены заплатить его крестьянам... Тем начались неприязненные отношения наши. Вдруг однажды является сам Старославский; он был в отпуску. Мамаша, забыв все прошлое, приняла его очень любезно; мы были тогда детьми; я не помню даже, сколько мне было лет (ей было за двадцать). Разумеется, с первого взгляда он показался всем довольно порядочным, впрочем, как большая часть молодых людей... Пробыв несколько часов, он уехал, а на другой день Купер отдал ему визит. Прошло с неделю времени, Купер опять отправился к нему, та сшиге, и позвал его к нам. Старославский явился; мамаша все-таки очень мило пеняла соседу за редкие посещения; гость отзывался боязнью беспокоить частыми посещениями; но мамаша настаивала, посылала Купера в Грустный Стан

только что не каждый день, и наконец Старославский сделался у нас очень частым гостем. Но что уже было дальше, – прибавила Антонина, – я не знаю, должна ли я говорить, та *cousine*... мне как-то неловко... а все-таки Старославский дурной человек, человек безнравственный!

– Нет, Антонина, расскажите все – пожалуйста, все, без малейшего исключения, без малейших пропусков! – воскликнула я, только что не обнимая и не целуя Антонины, которая, ты понимаешь, *Sophie*, остановилась на самом для меня интересном месте. Впрочем, заметно было, что и ей самой страх как хотелось продолжать.

– Ах, как неловко, кузина! – проговорила Антонина, жеманясь и опуская взор свой, – так неловко, что, право...

На этот раз я решительно приняла ее в свои объятия, и она продолжала:

– Мамаше показалось, и Куперу также (я сама была почти ребенок), что Старославский равнодушен ко мне...

– Вот что! – заметила я.

– Ах, ужасное время, мой ангел, ужасное!

но бог с ним! – Глубокий вздох Антонины прервал на минуту рассказ, глаза ее сделались влажны, и, снова потупив взор, она продолжала: – Страсть его ко мне усилилась в короткое время до того, что, изменив себе раз, он больше уже не подходил ко мне и не говорил со мною.

– А этот первый раз в чем состоял он, Антонина?

– Право, не знаю, как сказать.

– Пожалуйста, кузина...

– Ах, бог мой! как конфузно!

– Но не друзья ли мы, счиге Antonine?

– Да, да! Дружба, ты все на земле! ты частица небесного блаженства! отказать в чем-нибудь во имя твое есть верх преступления! – с энтузиазмом произнесла кузина, и сокровеннейшие тайны вырвались из засохшего рта ее в следующих выражениях: – Вы исторгли из меня мою тайну; не осудите меня, кузина, но пожалейте, пожалейте о несчастной, потому что несчастная также любила изверга и также изменила себе. Раз за ужином (то было в третий приезд Старославского) он сидел рядом со мной; мамаша, следившая постоянно,

как нежная мать, за развитием нашей страсти, обратилась к нему с вопросом: отчего он не избрал еще подруги жизни, и неужели из числа встретившихся, ему девушек не видал он ни одной достойной его... Старославский улыбнулся и отвечал мамаше, что отказался навсегда от надежды быть счастливым в супружестве. «Почему же?» – спросили в один голос и мамаша и Купер. «Потому, – отвечал он, – что девушка, которую я любил и во взаимности которой был уверен, предпочла мне другого...» Надобно же вам сказать, chigе cousine, что в это утро я, как нарочно, немножко пококетничала с молодым землемером, которого выписала для чего-то мамаша. При ответе Старославского в глазах моих потемнело, сердце сжалось, и, судорожно схватив его за руку, я крикнула: «Не верьте!» – и, зарыдав, упала полумертвая на грудь его... Меня оттерли, положили в постель, послали за доктором, а он... он почти не являлся более к нам...

Антонина опустила голову свою на грудь и вперила в меня свой неподвижный взор; а я... я повернулась лицом в подушку и чуть не за-

душила себя – таких усилий стоило мне удерживать смех. Бедная Антонина!

– Остальные ужасы передаст вам Купер: я не в силах... я не могу, – сказала кузина, вставая поспешно и приводя в беспорядок свои волосы, чтоб казаться эффектнее, – дальнейшие поступки этого человека раскрыли нам глаза, а чувство, возникшее в моей груди, превратили в глубокое презрение...

– Ужасно! бесчеловечно! – проговорила я в ответ на тираду Антонины, стараясь поддаться под ее тон: я даже присоединила к этим двум восклицаниям несколько других, не менее выразительных и сильных, надеясь тем подвинуть разгневанную Антонину к дальнейшей откровенности; но кузина, несмотря на все мои усилия, осталась непреклонна и нема.

Так вот в чем состоят обвинения бедного Старославского, этого безнравственного существа, дерзнувшего защищать крестьян своих от несправедливости Агафоклеи Анастасьевны, предложить ей часть своей собственности, не всегда являться на приглашения, и, что всего хуже, остаться нечувствительным к

сердечной болезни Антонины, признаки которой становились так несомненны. Я убеждена, что остальные ужасы, оставшиеся для меня тайною на время, будут переданы мне подобным же слогом и сделают на меня такое же впечатление.

Солнце было уже высоко, когда бессонная Антонина бросилась на ложе свое и, пять минут спустя, забылась мертвым сном; а я долго еще внутренно смеялась и припоминала все выражения кузины, чтоб на другое утро описать их тебе.

Остается знать, какую роль играл во всем этом охотник-родственник и за какой новый ужас ожидает Старославского мечь родственника и Купера. В последний приезд Грюковских я довольнее ими; по крайней мере откровенность их снабдила меня интересными материалами для письма, которого не запечатаю, пока не услышу что-нибудь от высокопарного Купера.

Кстати, chère Sophie, сделай дружбу и напиши мне, веришь ли ты в сверхъестественное? Мне помнится, что, рассуждая некогда со мной об этом, ты утверждала, что история Ка-

лиостро и Сен-Жермена не выдумка, а быль и что даже безрассудно отвергать то, чего ум постигнуть не может. Вспомни же, друг мой, что если мнение твое основательнее моего, если ты допускаешь существование непонятного и неизъяснимого, то через месяц, в страшную ночь предания, явление повторится, и я сделаюсь женою Старославского. Воображаю удивление твое, а вместе и мое собственное, потому что, по совести, мысль выйти за него никогда серьезно не приходила мне в голову.

Он мил – это правда; папа его любит, уважает и обходится с ним как с родным; но следует ли из всего этого, чтоб Старославский забыл свою первую любовь и удовольствовался посредственным счастьем – иметь жену вечно веселую и вовсе не страстную? Право, чтоб наказать его за Антонину и за все его ужасы, надобно было бы явлению повториться, и тогда условие наше я готова была бы напомнить ему сама. Je me reprйsente la grimace, que fera mon amie la tendre Antonine a sa future voisinemadame Staroslavsky,[49] а когда подумаешь... какие мы все дурные!.. До завтра...

(На следующий день).

Если сегодняшняя приписка моя покажется тебе менее забавною, то не вини меня в том, потому, chère Sophie, что я больше не смеюсь и чувствую, напротив, такую тоску, какой давно не чувствовала. Может быть, ночь, проведенная без сна благодаря сумасбродной родственнице, расстроила мои нервы, а может статься, и самая пустота всего, что вижу, слышу и делаю, навеяла на душу мою тоску, сплин, хандру – прибери какое хочешь название расстройству моего духа. Не скрою от тебя, что самые письма становятся слишком утомительны и не развлекают меня более. Нет, все вздор, и пора в Петербург! В деревне можно жить одним воображением – действительности не существует; а цветы, вздохи, ожидания, внутреннее созерцание чувств и прочую галиматью предоставляю Антонине с Купером. Последний вывел меня сегодня из терпения только что не сценою из «Отелло»: клятвы умертвить себя всеми известными способами были им торжественно произнесены, в случае, если я, со временем, отвергну предложение, которое намерен он

сделать мне формально по выделу ему мамашею его 200 душ. Превесело посмеяться изредка, но часто и долго смеяться становится невыносимо скучно! Хорош и Антонинин герой, к стыду моему так усердно превознесенный мною Старославский! Простить себе не могу такое глупое и долгое заблуждение; вот что значит пустыня и глушь и врожденная в женщинах склонность искать в самых обыкновенных созданиях нечто возвышенное, исключительное. И думала ли я, оканчивая вчерашние страницы, что не позже как сегодня прибавлю к ним новые, совершенно противные вчерашним? В первом порыве досады и внутреннего стыда я чуть не разорвала в клочки своего послания; но потом уже разочла, что всякий рассказ нравится преимущественно своими противоположностями, потому продолжаю, и, будь уверена, совершенно хладнокровно.

Весь дом спал еще, когда, наскоро одевшись, сошла я в сад. Солнце в это утро смотрело как-то грустно... я вообще нахожу сентябрь препрозаическим месяцем. Куда девалась та свежесть дерев и зелени, которою любова-

лись мы в мае? Самый воздух потерял весь свой аромат; короче: природа, как говорится, смотрела настоящим сентябрем. В аллее повстречался мне Жозеф.

– Что делает Днепр? – спросила я его, чтобы сказать что-нибудь.

– *Ma foil A se qu'il parait le vieux se moque du savant, mam'zelle,*[50] – отвечал француз и стал объяснять мне безрассудство предприятия, явное невежество машиниста, слишком большую доверчивость отца, и говорил с таким убеждением, что мне стало страшно. Неужели труд стольких людей пропадет вследствие хвастливости шарлатана? Более же всего мне жаль было моего отца, который действительно слепо верил «ученому». Когда я коснулась поездки Жозефа к Куперу, француз пожал плечами и бегом пустился от меня к дому. Удар колокола напомнил о чае, и все общество, за исключением Антонины, которая, под предлогом мигрени, не вставала с постели, собралось уже в столовой.

На Купере был светло-голубой сюртучок, подбитый бархатом. Перецеловав дам, я поместилась против самовара, и чайный процесс

продолжался с лишком час. Какое мучение! «Нельзя ли, душечка, поездить верхом на вашей лошади?» – шепнула мне на ухо Елена. Как отказать? Бедная моя леди Мильворт! Конечно, я предложила ее с отчаянием в сердце, а меньшие Грюковские запрыгали с криком и с такою радостью, что я невольно улыбнулась.

Тут началась новая тревога; созвали горничных, раскопали весь мой гардероб, и все, что хотя несколько похоже было покроем на амазонку, натянулось на полных кузин. Разумеется, крючки рвались, швы поролись, материя лопала, и, по прошествии двух мучительных часов, посиневшие амазонки в сопровождении остального общества вышли на крыльцо, где, как бы понимая свое неловкое положение, леди Мильворт встретила их беспокойным взглядом. Новая история: кому сесть прежде; все кричат, все боятся; Елена бросается на Купера, меньшая на меня и на Елену; визг, писк, смех, плач и такая суета, от которой и до сей минуты у меня в голове шумит. Кое-как уговорили Елену, и трепещущее двадцатидвухлетнее дитя приподняло ногу.

Сколько труда стоило мне растолковать ей, что, взявшись за гриву лошади, она не причинит ни малейшей боли. Нет, Елена бралась за самое седло и тяжестью своею сворачивала его на сторону. Долго бы еще продолжалась нерешительность Елены и увещания публики, но, выведенный из терпения лакей Агафоклеи Анастасьевны, угрюмый малый лет сорока, молча подошел к амазонке и, взяв ее за обе ноги, как ребенка, насильно посадил на лошадь; сделал он это так скоро и так неожиданно, что мы не успели еще опомниться, как испуганная леди Мильворт начала уже подбрасывать тяжесть свою, выделявая преуморительные прыжки. Купер, державший поводья, испугался до того, что бросил их на произвол судьбы, а испуганная в свою очередь Елена издала пронзительный крик, к которому присоединились голоса всего семейства и на который сбежалась не только вся дворня, но и множество крестьян, работавших поблизости. Сцена была самая комическая: на лошадь бросились со всех сторон; всякий почел долгом схватиться за что-нибудь принадлежащее Елене, и во всех руках осталось по ча-

стице ее костюма; сама же амазонка свалилась в объятия Жозефа, который с триумфом внес ее в дом, все-таки в сопровождении значительно увеличившейся публики. Тем кончилась *partie de plaisir*, [51] к большому удовольствию леди Мильворт, которая, конечно, долго не увидит никого из Грюковских. Елена принуждала себя улыбаться, протягивала руки свои всем окружавшим ее постель и уверяла, что все это ничего; но Агафоклея Анастасьевна настоятельно требовала, чтоб Елену натерли вином – и Елену докрасна натерли вином. Папа побранил меня за эту неудачную прогулку; а посуди сама, *chère Sophie*, могла ли я отказать в лошади, когда у меня просили ее, и, в случае отказа, те же Грюковские прокричали бы меня эгоисткой?

Когда все успокоились и когда последняя дочь, вышедшая из комнаты Елены, приблизилась на цыпочках к матери и шепнула ей в последний раз: «*Cela n'est rien?*» [52] – я пригласила Купера прогуляться по саду, и мы отправились вдвоем. Не стану пересказывать тебе ни выражений, ни всех подробностей гулянья, а скажу просто, что из слов Купера я

узнала, что Старославский далеко не исключительное существо, а точно так же, как и большая часть обыкновенных людей, питает в сердце своем нежные чувства к дочери какой-то мещанки, жившей с матерью очень долго в Грустном Стане; что временный предмет его нежности внушил страсть родственнику поэта, тому самому господину, которого Купер называет жуиром, что жуир хотел увезти красавицу, но что Старославский предупредил его и отослал красавицу в Москву, о чем узнал жуир, но поздно, иначе давно бы разделался с Старославским. Кто такова Дульцинея соседа, Купер не знает; а известно ему намерение родственника – вызвать Старославского на дуэль, зачем и едет жуир в наш край, под предлогом охоты; *et voila le revers de la mйdaille!*[53] Не правда ли, что все это мило? И было ли о чем хлопотать, и было ли чем наполнять длинные послания, которых, конечно, мы с тобою перечитывать не будем? довольно одного раза. Но позволить себе принимать меня в том доме и в той комнате, которая, вероятно, служила будуаром его неизвестной красавице, и называть этот будуар

моим – вот черта, которая характеризует человека и налагает на него неизгладимое пятно! Нет, monsieur Staroslavsky, час ваш настал; и если б добрый гений познакомил вас с тем чувством, которое волнует в эту минуту всю внутренность мою при одном вашем имени, вы приказали бы перекопать все дороги, все тропинки, соединяющие Грустный Стан ваш с Скорлупским и аристократическая нога ваша, конечно, никогда не коснулась бы соседней почвы!

Впрочем, какой вздор! и какое мне дело?... Как жаль, что ты не можешь слышать, как громко хохочу я в эту минуту и над Старославским, и над собою, и немножко над тобою, chère amie! Хорош же фаворит твой! Истинно прекрасный тип порядочных людей! И стоят ли подобные лица, чтоб легенды украшали их жизнь, а леса потрясались в таинственные ночи адским хохотом? Над такими лицами хохочут просто... Прощай. Я устала.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

По прошествии двух недель.

П Бьюсь об заклад, chиге Sophie, что ты никак не предвидишь просьбы, с которой папа обращается к тебе. Как бы хотелось мне помучить тебя, но приятных вещей откладывать не должно, и потому, с получением письма моего, сага mia,[54] прикажи немедленно нашему дворецкому приготовить все к приезду нашему в дом; это значит, что в Скорлупском произошли перемены, и мы к первому октября будем в Петербурге.

Этим должна бы я была окончить свое письмо; но кто же поручится, что тысячи дружеских упреков не посыплются из милых уст твоих на мою бедную голову? Неудовлетворенное любопытство друга не припишет ли всех этих перемен несуществующим причинам, как, например, отчаянию моему, страсти к Старославскому, пожалуй, к Куперу, ревности и пр. и пр.? Успокойся же, та chиге, и голова и сердце у меня в нормальном состоянии; я весела и счастлива, хотя слаба несколько после болезни, заставившей меня проле-

жать десять дней в постели и питаться лекарствами; но и без простуды нельзя было не занемочь от тех веселостей, которые сопровождают повсюду семейство Грюковских. По здравом рассуждении (а я, верь мне, рассуждаю очень здраво), я нашла, что грешно было бы, написав так много о житье нашем в провинции, не продолжать до конца, тем более что, как и прежде, недостатка в материалах нет; потом самые грустные вещи перерабатываются временем в приятные воспоминания. *Rйsignonsnous donc et poursuivrons!*[55]

Отправив к тебе последнее послание, я вздумала занемочь, и занемочь тотчас же; но где взять для этого средства? На дворе жар нестерпимый, вода тепла, и, на мое несчастье, ежедневные ванны из ледяного источника приучили особу мою к холоду; оставались, следовательно, неумеренный моцион и мороженое.

Не отлагая исполнения благоразумных намерений ни на минуту, я заказала к шести часам мороженое, а в четыре рука об руку с Еленю побегала сначала в сад, потом в поле, в шесть украдкою наелась мороженого, в де-

вять почувствовала первый пароксизм лихорадки с кашлем, а в двенадцать поскакали в город за доктором, и бред перепугал ужасно отца и гостей.

Вот о папа я и не подумала, шиге амие, и простить себе этого не могу. Вообрази, что он, бедный, в это время похудел более меня. Доктор объявил, что у меня воспаление в груди, и мне пустили кровь. Кузины – впрочем, они предобрые, надобно им отдать справедливость – просиживали у постели моей по целым ночам, и, как я ни упрашивала их успокоиться, они не соглашались и наравне с горничными хлопотали около меня. Купер просился несколько раз в мою комнату, но бедного поэта не пускали; ему оставалось отчаяние свое поверять цветам, росшим против моих окон. На шестые сутки опасность миновалась. Да, та шиге, я очень близка была к смерти – вот до чего доводят глупости! Итак, в шестой день папа объявил мне, что Старославский по несколько раз в сутки, и лично и через посланного, осведомляется о моем здоровье. Это участие вывело меня из терпения – это глупо также! Ничто не могло быть есте-

ственнее весьма обыкновенной любезности соседа; но на ту пору слабость и расстройство нерв сделали то, что я, в ответ отцу, побледнела как смерть; он заметил эту бледность, но смолчал и до сей минуты не произносит более имени Старославского. Грюковские еще у нас; родственник прибыл с охотою несколько дней тому назад к ним в деревню и будет к нам завтра.

Любопытно было бы знать, виделся ли он с предметом мести своей; впрочем, вероятно, нет, потому что оба живы и невредимы. Кажется, Старославский был здесь вчера поздно вечером; сегодня в первый раз позволили мне выйти на чистый воздух – какое неизъяснимое блаженство подышать им после долгого затворничества! Впрочем, в эти пятнадцать дней произошла в природе большая перемена: как много желтых листьев! как обнажены поля! как все уныло и грустно! Пора домой, то есть в Петербург! Надобно же тебе сказать, как и вследствие чего решен был скорый отъезд наш из Скорлупского. Во время первой прогулки папа пожелал быть сам моим кавалером; благодаря судьбе, кузины по-

боялись загара; солнце еще жгло, и все гости остались в комнатах. Папа спросил у меня, чувствую ли я себя в силах поговорить с ним кой о чем. Этот вопрос сначала испугал меня, но я превозмогла минутную тревогу и отвечала, что чувствую себя совершенно здоровой и слушаю его с удовольствием.

– Я замечаю, – сказал папа, – что деревня начинает надоедать тебе... с некоторого времени, – прибавил он таким странным тоном, что меня снова бросило в лихорадку.

– Но почему же с некоторого времени, папа? – проговорила я не совсем твердо.

– Мне по крайней мере так казалось. Я мог ошибиться точно так же, как, например, теперь, мне кажется, что тебе холодно.

– Немножко.

– Войдем в дом.

– О, нет; это пройдет.

– Тем лучше, а разговор можно отложить до другого раза.

– Нет, нет! – воскликнула я и упростила отца продолжать сей же час. Ненавижу отсрочки; тем более неприятна была отсрочка разговора, которого все-таки я боялась немножко.

– Но я ничего не имею тебе сообщить, кроме замечания, которое я уже сделал, – продолжал отец. – Мне самому деревенская жизнь не по сердцу, а с наступлением осени и дурных дней по старой привычке невольно вспомнишь о клубе и друзьях; короче – поедем в Петербург, если хочешь.

– А работы ваши, папа?

– Через неделю они кончатся, и я свободен.

– В таком случае едем, – отвечала я.

– Но ты этого желаешь? точно?

– Конечно, папа.

– И без всякого сожаленья?

Он снова и пристально посмотрел на меня; я снова ужасно покраснела, и как некстати, ты представить себе не можешь! Потом я начала было оправдываться и насаждала много вздора; папа решительно отказался слушать меня, уверяя, что серьезный разговор отлагает он до следующего утра, то есть до завтра, а сегодня еще рано. Любопытно мне знать, что называет он серьезным разговором и чему приписывает перемену в лице, которая не что иное, разумеется, как остаток слабости после непродолжительной, но все-таки до-

вольно опасной болезни. В продолжение вечера Купер менялся в лице чаще моего; в нем происходит, видно, какая-то внутренняя борьба; но я сделала вид, что не замечаю ничего, и в девять часов, простясь со всеми, отправилась в свою комнату. Письмо буду продолжать завтра.

На следующий день.

Много новостей, сниге amie, и преинтересных! День был полон чрезвычайных происшествий. Выздоровление мое делает гигантские шаги, а вместе с ним и расположение духа исправилось; я начинаю смеяться натуральнее... Но сколько нового, бог мой! Когда же мы, женщины, перестанем быть детьми? Слушай. Утром папа прислал узнать о моем здоровье и спросить, могу ли я принять его в моей комнате; минутой спустя он вошел; серьезный разговор начался.

– Nathalie, – сказал отец, взяв меня за обе руки, – можешь ли ты без тревог и беспокойства, вредных для здоровья, поговорить со мною о делах, до меня собственно касающихся?

– Конечно, могу, папа, – отвечала я, успоко-

енная совершенно предуведомлением, что дело касается до него.

– Merci.[56] Я долго мучить тебя не стану. Вот в чем дело. Ты довольно благоразумна, чтоб смотреть на жизнь не так, как на пикник, а как на вещь более серьезную. Расставаться с тобой я не хочу и не решусь; но видеть тебя пристроенною и счастливою – желаю от всего сердца. Предстоят две партии. Первый объяснился со мною и получил отказ; этот первый – родственник наш Купер.

– Кто же второй? – спросила я и опять покраснела до ушей...

– Второго отгадать нетрудно – Старославский. Но отчего ты краснеешь? Он до сих пор не сказал мне о намерениях своих ни полслова; но в мои годы мудрено ошибиться, и я убежден, что ты нравишься Старославскому.

– Я презираю этого человека! – воскликнула я с негодованием.

– Выражение слишком сильно, а чувства этого ты оправдать не можешь ничем, – хладнокровно заметил отец.

– Но вы не знаете, папа, до какой степени он ничтожен!

– Напротив того, я знаю его с детских лет и отдаю этому молодому человеку полную справедливость: он благороден, добр и способен сделать жену свою счастливой.

– Как, с детских лет?

– Да, – продолжал отец. – Лет пятнадцать тому назад, если не более, по некоторым обстоятельствам мне случилось быть в здешнем краю. Старославский был тогда очень молод и в дурных руках; его разоряли, нисколько не заботясь ни о воспитании, ни о будущности молодого человека, который, однако, был одарен всем, чтобы составить блистательную карьеру во свете. Судьба свела нас случайно, и несколько лет сряду я имел случай наблюдать за ним.

– Папа, – воскликнула я невольно и в ужасном волнении, – вы были в то время предводителем?

Отец посмотрел на меня с удивлением.

– Вы вырвали Старославского из рук опекуна его, старого деда, у которого в доме воспитывались мальчики, а распоряжалась ключница? вы увезли молодого Старославского к себе, преобразовали его, возвратили ему со-

стояние, были его благодетелем и, сделав так много, запретили ему даже напоминать вам и говорить другим обо всем этом?

– А он, ветреник, не сдержал слова и будет за это наказан, – заметил папа, улыбаясь, – но я еще не кончил.

– Папа, вы чудесный человек!

– Благодарю покорно; но умерьте восторг ваш, графиня, и дозвоьте продолжать мне.

– Я слушаю, слушаю.

– Тем лучше. Следовательно, ты видишь, – продолжал папа. – Старославского я знаю и любопытен слышать, что могло внушить тебе презрение к лучшему из людей?

– Не скажу, папа...

– Не можешь и не в праве!

– Ни за что не скажу.

– Я требую.

– Напрасно, папа, потому что сказать причину я не решусь в присутствии вашем; пройдет еще несколько дней – и дело объяснится само собою.

– Подождем, – отвечал отец и, пожав плечами, вышел вон из комнаты, но вдруг вернулся, подумал с минуту и снова обратился ко

мне. Я привсталала.

– Не беспокойтесь, графиня, – сказал отец иронически, – то, что имею прибавить, не возьмет у вас много времени. Мне приятно было бы, чтоб Старославский не имел права считать отношений наших к нему мистификацией.

– Это как, папа?

– Очень просто. Мы видимся и бываем друг у друга слишком часто для людей, знакомство которых должно окончиться через несколько дней; и каким бы философским взглядом ни смотрел свет на продолжительные и довольно дальние прогулки молодой девушки с посторонним человеком, я нахожу прогулки эти неприличными.

– Вы хотите сказать о поездке моей в Грустный Стан, папа?

– Может быть.

– Но не сами ли вы изъявили на то согласие?

– Согласие, основанное на уважении и полной доверенности к Старославскому; да и отказать ему в этой доверенности я не считал себя вправе; но вы, презирая его...

– Это чувство внушил он мне впоследствии.

– Нескромным словом, поступком, может быть?

– Нет, папа, в присутствии моем Старославский ни разу не изменил обязанности порядочного человека.

– Следовательно, презрение ваше основано на слухах?

– Может быть.

– На словах Купера, Антонины и им подобных?

– На очевидности, папа.

– Этого достаточно, графиня, и с этой минуты дверь моя заперта для Старославского.

– Как заперта? – воскликнула я.

– Как запирается она обыкновенно для людей, недостойных чести быть принятыми в моем доме.

– Но поступок Старославского нимало не мешает ему оставаться тем, чем он есть в самом деле.

– То есть презренным?

– В глазах моих, в глазах девушки, в которой он ищет. Что же касается до вас, как по-

сторонних...

– Nathalie, ты не уверена в своем новом предположении насчет Старославского?

Перемена тона, с которым говорил отец, побудила меня к откровенности; и к чему было скрывать от него истину, которая могла быть если не выдумкою Купера, то, по крайней мере, преувеличенною?... Усадив папа в кресло, я созналась ему, что Старославский начинает мне нравиться, что хотя мысль сделаться его женой и не приходила мне на ум, но от руки его я бы не отказалась и, вероятно, полюбила бы его со временем, если бы...

– Если б что? – спросил отец.

– Если бы Старославский не любил уже другой...

– Дочь помещицы-вдовы, вышедшей замуж двенадцать лет назад? – перебил папа смеясь.

– Нет, не дочь помещицы, а дочь мещанки, увезенную им.

– То есть отосланную Старославский в Москву?

– Как, папа, и вы знали все это? и вы допустили любимца вашего сделать подобную

вещь?

– Я сделал более, – отвечал папа, продолжая смеяться. – Но довольно пока. Совещание наше продолжалось слишком долго, и другие занятия, конечно, менее важные, чем преступления презренного Старославского, призывают меня в мой кабинет.

Не дав мне времени опомниться, отец поклонился с комической важностью и вышел вон.

Я не узнала ничего нового, но тем не менее мне стало легче, Sophie; тяжелый камень спал с сердца. Какое счастье не презирать никого – я говорю, не презирать, потому что во всех поступках Старославского участвовал папа: не служит ли участие это достаточным ручательством за всякого постороннего человека, по крайней мере, в глазах дочери? Уверена, что и ты, chère amie, согласна с моим мнением и сделала бы то же. Но кто же эта девушка, эта дочь мещанки? и если Старославский не любит ее, к чему похищение? А этот мститель?... А Купер?... В таком расположении духа отправилась я к ожидавшему меня обществу...

Во время чая царствовало всеобщее молчание; на лицах семейства Грюковских изображалось беспокойство; все, казалось, ожидали чего-то. Я вспомнила о предложении Купера и обещала себе воспользоваться этим обстоятельством и позабавиться насчет поэта. «Непростительно!» – скажешь ты; но что же делать, друг мой, когда в деревне так мало развлечений! Я сообразила уже новый и предательский план нападения на Купера, как вдруг за дверью раздался громкий стук шагов, послышался густой мужской бас, и, в сопровождении отца, вошел в столовую гигант, лет сорока пяти, в коротком сюртуке, застегнутом до горла *a la militaire*, [57] с претолстою цепью, привешенною вдоль груди. Волосы гиганта были фиолетового цвета, усы черные, как уголь, а щеки, *ma chigre*, и подбородок синие, но совершенно синие!..

– Авдей Афанасьич! – воскликнула Агафонья Анастасьевна.

– *Mon cousin!* – вскричали порознь все кузины.

– Авдей Афанасьич, – сказал отец, подводя ко мне гиганта, который топнул ногою, шарк-

нул, проговорил «очень рад» и, взяв стул, осмотрел его и уселся на нем осторожно. Затем последовало продолжительное молчание.

– Кто это? – спросила я вполголоса у сидевшей возле меня Антонины.

– Соперник Старославского, – отвечала мне кузина, скривив рот в знак насмешки.

Бедная думала поразить меня ответом, который, не знаю почему, произвел на ум мой действие совершенно противоположное тому, которого она ожидала. Как странно! Но чем больше всматривалась я в фиолетовые волосы Авдея Афанасьича, тем невозможнее казалось мне, чтоб он был соперником Старославского. Гость видимо желал заговорить со мною; он долго не спускал с меня красноватых глаз своих, наконец покачнулся на стуле и ревнул:

– Как хороши места-с!

– Что-с? – спросила я, не понимая гостя.

– Как хороши места-с! – повторил он.

– Какие места?

– Все отъёмнички-с.

– Как отъёмничкй?

– Теплые-с.

Я посмотрела с недоумением на отца, который, не знаю, с намерением ли или без намерения, повернулся в другую сторону.

– Что шаг, то остров-с, что шаг, то остров-с, и все мошки-с, – продолжал гость, подвигаясь ко мне ближе.

– Но где же это? – спросила я наконец, не понимая, про какие острова мне говорит Авдей Афанасьич.

– На большом протяжении-с!

– То есть на Днестре, вероятно...

– О, нет-с! Помилуйте! Днестр дрянь. Напротив того-с, выжелятник мой дозрил места и говорит сплошное-с, а есть другая речка-с, будет от нас этак влеве, так, можно сказать, рассадник настоящий, и озимь-с в этом году, как в нарок, подалась в ту же сторону... места, можно сказать, царские...

– А вы любите хорошее местоположение, Авдей Афанасьич?

– Как же не любить, помилуйте-с! Да ведь на этом живем-с.

– Вы, верно, также прибрежный житель Днестра.

– Напротив, терпеть его не могу.

– Днепра?

– Бог с ним! помилуйте, что в нем?

– В Днепре? – спросила я с удивлением.

– Именно-с.

– Но что же может быть живописнее берегов его?

– Горы да скалы!

– Ну да, конечно, горы, скалы и леса, к нему прилегающие.

– Да что в них, скажите на милость? Да ввались в эти трущобы стая, в неделю не вызовешь; а сунься кто из псарей, на рожон наткнется, как пить даст.

В порыве энтузиазма гость прочел такую диссертацию насчет Днепра и в таких выражениях, о которых я еще никогда не слыхала. Слушая его, я знаками звала на помощь Купера, который вышел наконец из своей летаргии и, вмешавшись в разговор, дал мне возможность мало-помалу отдалиться от их обоих.

– Не правда ли, что преоригинальный общий родственник наш? – спросила у меня Антонина.

– А разве он родня и нам?

– Не близко, но родня, – отвечала насмешливо кузина, думавшая, конечно, уколоть меня.

– Тем лучше, потому что Авдей Афанасьич кажется мне предобрым человеком, – сказала я очень серьезно.

– Следовательно, он вам нравится, Nathalie?

– Я не знаю, как вы понимаете это слово; если же нравится – значит внушать симпатию, то родственник наш мне очень нравится.

– Кто бы подумал?

– Отчего же?

– Оттого, что он совершенный медведь, кузина!

– Не блестящ, это правда; не танцует, и это может быть.

– Напротив, танцует и поет и нравится женщинам, – прибавила Антонина.

– Не удивляюсь нимало.

– Как, вы?

– Я.

– И это не шутя?

– Очень серьезно.

- Но если бы Авдей Афанасьич предложил вам руку?
- Я отказала бы Авдею Афанасьичу.
- Почему же?
- Потому что предпочитаю остаться свободною.
- Только потому?
- Только потому.
- Но это невероятно! – воскликнула кузина. – Я слушаю вас, *cousine*, и не верю ушам: находить Авдея Афанасьича интересным!
- Не интересным, а добрым и недурным.
- Недурным? Да он страшен.
- Не нахожу.
- Но эти колоссальные размеры, но эти атлетические плечи?
- Не портят мужчины.
- А сорок пять лет?
- Лучший возраст; я мальчиков не люблю.
- Ah! *Dieu des dieux! C'est inimaginable!*[58] – проговорила с гримасою Антонина так громко, что Купер повернул голову в нашу сторону, – если бы ты знал, Купер, если б ты мог представить себе!..
- Что такое? – спросил Купер с беспокой-

СТВОМ.

– Нет, plus tard, plus tard![59]

Но Купер встал уже, подошел к Антонине и, после долгих увещаний с одной стороны и жеманств – с другой, братец и сестрица вышли в другую комнату и несколько минут спустя возвратились обратно с улыбками на устах.

– Не может быть! – говорил Купер.

– Mais je t'assure, – повторила Антонина, – mais je te dis que oui![60]

Взгляды их устремлялись на меня, но я держала роль свою до конца. Надобно тебе сказать, что мне в голову пришла такая оригинальная мысль, которую оправдать может одна только пословица, что от высокого до смешного один шаг. Я замыслила внушить ревность Купера предпочтением Авдея Афанасьичи и, поссорив их, вооружить друг против друга. О пользе, которую надеялась извлечь из этой ссоры, умолчу пока; в успехе же предприятия сомневаться нельзя, потому что Купер начинает уже искоса поглядывать на гостя и обращать в смех его действительно странные выходки. Я внутренне торжествова-

ла. Авдей Афанасьич прибыл к нам надолго, кажется; собак его, как я узнала, поместили в одном из новых строений близ Днепра; он же сам расположился, по собственному желанию, в бане – забавная идея!

Надобно быть мною, та шиге, чтоб от самого утра до четырех часов, то есть до обеда, не отставать ни на шаг от Авдея Афанасьича, водить его по саду, смотреть каждую из собак его порознь, перевозносить охотников, одетых в светло-зеленые костюмы, обшитые желтой тесьмою, лошадей страшно уродливых, и согласиться быть его дамою на первой охоте, в которой папа позволит мне участвовать. Разумеется, мы этого позволения не дождались бы никогда, но все равно. Купер, привилегированный Купер верил всему и, несмотря на высокий и выпранный ум свой, совершенно вдался в обман. За обедом я поместила Авдея Афанасьича возле себя; поэт занял место по другую сторону; Антонина, наблюдавшая за мною, несколько раз принималась хохотать очень ненатурально, но глаза ее метали пламя, и чувствительная сестра Купера шла его же стезею. Как мне было весело, тем более

что в комедии, по-видимому, участвовал сам папб; вниманию его к гостю не было границы: он наливал ему вино, упрашивал повторять блюда и делал с Авдеем Афанасьичем то, чего никогда и ни с кем не делал.

По выходе из-за стола я сама предложила гостю руку, и все общество вышло на балкон. Мы сели; Купер подошел ко мне сзади.

– Вы сегодня в самом счастливом расположении духа? – сказал он вполголоса.

– Да, мне очень весело, – отвечала я громко.

– Этою веселостью обязаны мы, если не ошибаюсь, Авдею Афанасьичу?

– Может быть.

– Я не узнаю вас, кузина.

– Право?

– Прекрасный пол ваш соединяет в себе иногда так много противоречий...

– Вы думаете?

– Но укажите мне средство сомневаться, смотря на вас, кузина! Что за блеск в глазах ваших? они дышат пламенем.

– Вы находите?

– Не я один.

– Кто ж еще?

– Многие... все.

– Да?

– Но когда подумаешь о двигателе?...

– Чего?

– Веселья вашего, кузина!

– То что же?

– Невольно вспомнишь о чарах, о магических средствах, употреблявшихся в фабюлезные времена сатирами для привлечения нимф.

– А сатир этот?...

– Кто же, как не Авдей Афанасьич!

– Следовательно, нимфа – я, mon cousin.

Благодарю за сравнение, но протестую: родственник наш нимало не похож на сатира, и магические способы привлечения, полагаю, ему не нужны.

– Ему, чтоб нравиться? – спросил Купер с улыбкою глубочайшего презрения.

– Конечно, ему, mon cousin.

– Нет, послушайте, кузина, или вы меня дурачите, или глаза мои созданы исключительно для духовного мира, в котором родственнику нашему, как вы называете его, назначе-

на уже, конечно, незавидная доля.

– В мире духовном – может быть, – отвеча-
ла я с видом оскорбленного самолюбия, – но
на прозаической земле...

– Что же кузина? докончите.

– Зачем? Мнения могут быть различны, и
друг ваш...

– Какой друг?

– Друг ваш, Авдей Афанасьич.

– Он? мой друг?

– Так по крайней мере называли вы его
вчера.

– Par dйrision![61]

– Не знаю, par derision или нет; но Авдей
Афанасьич хотя и не поэт, а все-таки имеет
полное право рассчитывать на частицу зем-
ного счастья.

– Быть любимым, например?

– Не страстно, но по-земному.

– И порядочною женщиною?

– Конечно, порядочною.

– Невозможно! – воскликнул Купер.

– Вы себе противоречите, mon cousin.

– Чем же, графиня?

– Не вы ли говорили мне о страсти, вну-

шенной родственником вашим какой-то престной девушке?...

– Дочери мещанки, – перебил Купер.

– Все равно; если дочь мещанки в то же время внушила страсть Старославскому, то она девушка не совсем обыкновенная; а, предпочитая Авдея Афанасьича, не доказала ли она тем, что Авдей Афанасьич предпочтительнее Старославского?

– Я не говорил, что дочь мещанки внушила страсть Старославскому.

– Но не он ли увез ее?

– Он мог увезти без всякой страсти, по капризу.

– Не верю.

– Даже не по капризу, а по другим причинам.

– Я этих причин не допускаю, – отвечала я с настойчивостью, которая начинала выводить из терпения поэта, – поступок Старославского может быть извинен только любовью к этой девушке.

– Как, графиня, вы сравниваете Старославского с этим полипом?

– Нет, потому что тот, кого вы называете

полипом, предпочтен Старославскому.

– Вами предпочтен?

– Я не сказала этого, но...

– Вы говорите, но... достаточно, очень достаточно!

И покрасневший до ушей Купер снова бросился к Антонине, и новое совещание совершилось в темных аллеях сада.

Надобно заметить, что об успехах своих не имел Авдей Афанасьич ни малейшего понятия. Не обращая внимания на гнев Купера, на иронию Антонины, гость закурил, с моего позволения, огромную белую с цветочками трубку и принялся препрозаически дремать, прислонясь к колонне на одной из нижних ступеней крыльца. «И этот человек прибыл издалека в Скорлупское с местью в сердце!» – подумала я. Или я очень неопытна в системе Лафатера, или Купер поэт в полном смысле этого слова. Чувствуя еще некоторую слабость, я оставила задремавшего Авдея Афанасьича и родственников своих и отправилась в свою комнату. Был час восьмой вечера, когда, лежа на диване, я заметила, что гардины окон моих приходят в движение; на дворе бы-

ло тихо, и движение это не испугало, но удивило меня до крайности. «Неужели Купер?» – подумала я. Правда, поэт способен на все, выходящее из общего порядка; но предо мною между гардинами явился не поэт, а Жозеф.

– Que me voulez-vous?[62] – спросила я с удивлением.

– Excusez, ma chatelaine, mais je viens vous pгйvenir, que dans une heure la lutte commence. [63]

– Quelle lutte?[64]

– Mais la lutte du savant avec le monstre,[65] – отвечал, смеясь, Жозеф и растолковал мне, что через час остановят Днепр и завтрашний день на место реки появится море.

Выслушав француза, я набросила на плечи мантилью и побежала к отцу; он встретил меня в зале, в сообществе всех гостей, и подтвердил слова Жозефа, приглашая нас присутствовать при окончательной борьбе с страшным соперником – Днепром.

Купер, конечно, назло мне подал руку Антонине, но я, как бы не замечая этого, подошла к Авдею Афанасьичу. Гость сделал глисаду, снял картуз, не догадываясь, в чем дело;

но я без церемонии протянула ему руку, и мы открыли шествие. На пути повстречались нам толпы крестьян, вооруженных лопатами, вилами, топорами и длинными палками. Все они присоединились к нам и составили собою бесчисленный арьергард.

Оба берега Днепра равно усеяны были народом; в том же месте, где между двух длинных земляных насыпей поставлен был так называемый сруб, или нечто вроде деревянного строения, машинист ожидал нас с толпою избранных им, то есть самых надежных и ловких людей. Сильно забилося мое сердце при виде всех этих приготовлений. Я не понимала еще хорошенько, как приступят к приостановлению реки, но мне сделалось страшно за людей, которые казались так ничтожными в сравнении с этою массою воды, катящейся хотя медленно, но грозно и величественно. Папа хотя и улыбался, но был бледнее обыкновенного; наружность машиниста равно не имела ничего ободрявшего, и один Жозеф улыбался, и улыбался он улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего.

Народ приветствовал нас низкими покло-

нами. Я спрашивала у многих из стариков мнения их насчет предприятия: все без исключения качали головами и отвечали ничего не выражающими «бог весть», да «кто знает», да «авось бог поможет» и тому подобным.

– Однако пора, братцы! – крикнул отец – и живая масса людей разделилась на кучи; во главе каждой из них стал заблаговременно избранный старшина; потом, по данному знаку, все крестьяне сели на землю. Просидев молча с минуту, все снова поднялись на ноги, сняли шапки, перекрестились, с криком бросились на кучи соломы, ельнику, древесных сучьев и земли, приготовленные у самого берега. Суета была так велика, что я и не заметила, как деревянный остов, о котором говорила тебе выше, начал как бы уходить в землю со стороны течения реки, а Днепр действительно приостановился, затих, сгладился совершенно и стал расширяться; в один миг противоположный берег наводнился; еще мгновение – и соседний холм превратился в остров.

– Молодцы! – закричал отец работавшим, и новый радостный крик отвечал отцу, а новые

глыбы земли обрушились с высоты насыпей к подножью сруба. Жозеф был не прав: остановился Днепр, присмирел, могучий, и замолк его говор, и распались седые волны. Мне стало жаль старика!

Надобно было видеть, та сшиге, торжество машиниста, радость папа и удовольствие всего народа. Крестьяне подходили к нам с поздравлением; молодые бросали шапки вверх. Всего забавнее были насмешки, с которыми ежеминутно подходил *le savant* к Жозефу. Первый важничал ужасно, брал француза за руку, подводил его к берегу, указывал на воду и хохотал; француз качал головой, отвечая на все насмешки машиниста пословицею: *riга bien qui rira le dernier!*[66] К десяти часам вода, коснувшись берегов менее отлогих, стала подниматься медленнее, а вечерний туман прогнал нас домой. Удача расположила все умы к веселости, и сам Купер сделался менее грозен. Этот вечер положили мы посвятить разного рода фарсам; первый придумала я и уговорила Авдея Афанасьича пропеть что-нибудь. Гость не оказал ни малейшего сопротивления и, взяв три аккорда в се-дур (которыми,

как оказалось впоследствии, ограничивались все его музыкальные познания), с помощью этих трех аккордов пропел громовым голосом «Солому». В романсе соседа солома осеняла кров, где земледелец обитает, служила ему ложем для отдохновения, и та же солома, превращаясь в наряд, то есть в шляпку, защищала красавиц хитрою рукою от загара; сравнивая же все-таки свою солому с непостоянством женской любви, Авдей Афанасьич вдруг схватил мою руку, поцеловал ее с нежностью; тот же маневр повторил он и с Антониной и с Еленой, и с меньшими сестрами, а в заключение, и с самою Агафоклеею Анастасьевною. Я хохотала до слез, но Авдей Афанасьич потребовал от меня, как он говорил «реванжика»; отказать ему было смешно – я пропела: «Ты не поверишь, как ты мила»; каждый refrain[67] возбуждал ту же нежную улыбку на устах Авдея Афанасьича. После меня место у фортепьяно единодушно предложено было Антонине. Кузина, разумеется, начала кривляться, выражая своим лицом то отчаяние, то умиление, то мольбу, и наконец уж отдалась на волю нашу, но с условием,

чтоб Купер и Елена поддержали ее на скользкой стезе испытания, и две трети семейства Грюковских простионали «Пловцы» Варламова. Антонина пела сопрано, Купер – альта, а Елена – бас. Разумеется, кузина сочла необходимым поговорить довольно долго о хрипоте своего голоса, о несносном климате нашего уезда, о недостатке нот и практики и всего прочего, мешавшего ей усовершенствоваться в музыке. Вслед за пением Купер продекламировал тираду из «Разбойников» Шиллера, а Авдей Афанасьич показал на тени, с помощью толстых пальцев своих, зайца, солдатика, пустынного и лебедя; для последнего обнажил он руку свою до локтя, отчего все девушки с криком убежали в другую комнату.

Было за полночь, когда подали ужин, а во втором часу мы разошлись.

Я устала до смерти, Sophie; кончаю страницу и ложусь спать.

Да, я и забыла сказать тебе, что Старославский, как мы узнали, отлучился, неизвестно куда и надолго ли, из Грустного Стана. Не правда ли, что странно; chire amie, и некстати, потому что отсутствие его в эту минуту

может быть истолковано и Купером, и толстым гостем с весьма невыгодной для него стороны? Неужели страх встретиться с Авдеем Афанасьичем был причиною его отъезда? Не может быть... а все-таки странно!

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

27-е сентября

Прошла неделя с тех пор, как я писала к тебе, chère Sophie. Старославский не возвращался; мы по-прежнему гуляем до вечера, а в полночь, насмеявшись вдоволь, расходимся по спальням. Днепр действительно переродился в маленькое море; несколько деревянных колес вертятся с утра до ночи. Папа очень доволен успехом своего предприятия. Машинист говорит и распоряжается так громко, что голос его долетает до балкона, а бедный Жозеф притих. Как я ни люблю доброго француза, но не скрываю радости своей, что предсказание его не выполнилось. Авдей Афанасьич отправляется на охоту с восходом солнца и возвращается не прежде заката. Несчастных зайцев каждый раз приносит он сам, в виде трофеев, в гостиную; нередко тро-

феи его ужасно видеть: представь себе куски красного мяса с ушами; все остальное бывает обыкновенно съедено собаками, *c'est terrible a voir!*[68] Кстати: какая рассеянность, *chigé amie!* Я должна была бы начать с того, что первого числа октября мы решительно выезжаем из Скорлупского. Как я счастлива, выразить тебе не могу! Но и Скорлупского жаль немножко, особенно в последнее время я смеялась в нем так много; а по моему характеру, чему бы ни смеяться, только бы смеяться – и я довольна. Вчера всем обществом ходили мы пешком в ту самую пустынь, о которой я когда-то писала тебе, в ту самую, которую построили, говорят, близ места встречи пустычника с польским паном. Все строение бедно и составлено из круглых камней, слепленных кой-как. Обитель состоит из маленькой ветхой церкви, пяти деревянных келий, небольшого сада, служащего в то же время кладбищем, – вот и все.

Настоятель пустыни, седовласый старичок почтенной и кроткой наружности, принял нас ласково, показывал утварь, несколько древних икон, пожертвованных обители

предками Старославского, и богатые сосуды, присланные в дар настоящим владельцем Грустного Стана. О Старо-славском старичок отзывался с самой лучшей стороны. Каждая похвала настоятеля выкупалась гримасою Купера и Антонины. Помолясь на кладбище, мы простились с иноками и отправились в сопровождении их в обратный путь. Кругом обители превысокий сосновый бор и глубокие рвы; вообще все это место крайне грустно и дико. Весь вечер прошел в толках и рассказах о преданиях. Агафоклея Анастасьевна утверждает, что в ночь на двадцать восьмое сентября... «Но ведь это завтра», – заметил папа. «Как завтра!» – воскликнули мы все в один голос, и меня обдало ужасом... Ведь действительно завтра, сhиге Sophie! Ну ежели да выполнится предание... Впрочем, Старославского нет... тем лучше... Возвращаюсь к Агафоклее Анастасьевне: она утверждает, что однажды управляющий ее в эту ночь настигнут был страшною грозой в самом том лесу, где обитель, и ровно в полночь не только управляющий, но и кучер его явственно слышали вой собак, отдаленный звон колоколов, и в то

же время над самым лесом черное небо озарилось заревом – и несчастные чуть не умерли со страха.

– Но неужели никто из жителей Скорлупского не может подтвердить или решительно опровергнуть все эти рассказы? – спросила я, обращаясь к отцу. И он тотчас же послал за несколькими стариками.

Первый из них оказался глух, другой имел свойство спать слишком крепко, а третий и четвертый не только подтвердили слова приказчика Агафоклеи Анастасьевны, но прибавили, что явление это до того напугало окрестных жителей, что в эту ночь все они запираются в своих домах, и до слуха их долетает только вой собак, мешающий расслышать остальное, то есть громкий смех пана и подземный гул, смешанный со звоном колокола.

– Есть ли хотя один человек, которому довелось послушать все в одно время? – спросил отец.

– Как не быть! Да вот хоть бы кузнец наш, батюшка барин, – отвечал один из стариков, – в запрошлую осень – не дальнее время! – шел он с постоялого двора, что на косе, близ зава-

ни; вот и идет себе, не думает; вдруг как грянет гром да блеснет молния, он снял шапку да и перекрестился; опять гром – опять перекрестился; вдруг откуда ни возьмись град, да в куриное яйцо; что делать?

Он и высмотрел дупло, и сунь в него голову, хотя бы голову-то спасти, и слышит, словно звонят колокола – ей-богу!

– Где же кузнец?

– Помер об святках, – жалобно ответил рассказчик.

Тем кончились расспросы, которые хотя и не обогащали нас неопровержимыми доказательствами, но и не отрицали предания.

Наслушавшись всего этого, к стыду моему, признаюсь, я равнодушно проходила темную залу и ни за что в свете не решилась бы прогуляться по саду одна, хотя прогулки эти имела я привычку делать ежедневно.

Маршрут наш в Петербург следующий: первого числа после раннего обеда мы отправляемся все вместе, то есть Грюковские и мы, к ним на ночь, пробудем у них второе число и третьего выезжаем в путь. Папа намерен остановиться на двое суток в одном из

своих имений верст за триста отсюда, а к десятому надеюсь обнять тебя, chère amie, в Петербурге... Вот счастливая мысль! постарайся уговорить своих выехать к нам навстречу; ручаюсь тебе, что я употреблю все средства, чтоб прибыть в Ижору к трем часам пополудни; следовательно, выехав в час по железной дороге, вы в Царском через полчаса, а в Ижоре в два с половиною. Mon Dieu! Que je serai heureuse![69] Прощай, Sophie. Спешу кончить: едут на почту.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

28^{-е сентября} Sophie, cher ange! Un peu de pitié pour moi![70] Но нет, я знаю тебя: ты будешь смеяться надо мною; я уверена, что назовешь меня ветреницею, бесхарактерною, даже сумасшедшею, может быть... Бог мой! и зачем поверяла я тебе все мысли мои? зачем отдала себя на суд и на осуждение? И когда вспомню, что еще недавно смеялась над чувствительною Антониною, над забавною развязкою романа ее с Старославским, и сделать почти то же самое... ужасно!.. но жребий брошен! Осу-

ди меня, сшиге аміе, если хочешь, но выслушай...

Настало наконец утро так давно ожидаемого двадцать восьмого числа. Небо было ясно, солнце грело, как во все прошедшие дни, и утро это отличалось от прошедших одною формальною декларациею Купера: поэт повторил ее отцу, отец передал торжественно декларацию мне, а я поблагодарила за честь, мне сделанную, и смягчила, сколько можно, отказ, основанный будто бы на решительном намерении оставаться свободною. Агафоклея Анастасьевна поморщилась, а Антонина, узнав о неудаче братца, сделала ему сцену. Истинную причину отказа приписывало семейство Грюковских тайной любви моею – уж не знаю, к Старославскому или к Авдею Афанасьичу, который и в это утро, по обыкновению своему, отправился на охоту. Пользуясь междоусобием родственников, я удалилась в свой кабинет. Приводя в порядок вещи, которые должны были оставаться в деревне, и пристально занимаясь их укладкою, я не заметила, как вошел Старославский. Он поклонился и предложил помочь мне в моем заня-

тии.

– Как давно мы не видались, мсье Старославский, – сказала я ему не без насмешливой улыбки.

– Я не был в Грустном Стане, – отвечал он.

– А причина такой долгой отлучки?

– Гость ваш.

– Авдей Афанасьич! – воскликнула я невольно.

– Он, графиня.

Ответ этот, и сделанный так хладнокровно, сбил меня совершенно с толку.

– Но он здесь еще, мсье Старославский, – сказала я.

– Знаю, графиня.

– И вы его дождетесь?

– Сегодняшняя ночь поставляет меня в необходимость...

– Встретиться с Авдеем Афанасьичем?

– Нет, но присутствовать при страшном явлении.

– Которому вы верите?

– В котором не сомневаюсь; а в доказательство, графиня, не повторись явление – я дал обет не возвращаться боле в Грустный Стан, а

расстаться с ним мне было бы очень грустно!

– Вы фаталист, мсье Старославский?

– Я человек рассудительный, и расчет мой безошибочен. Бесперывная перемена места делает одинокую жизнь сноснее...

– Но что же общего между ночным явлением и одиночеством?

– Ваше слово, графиня; возьмите его назад, и кочевание мое начнется сию минуту.

– Вы забыли Авдея Афанасьича?

– Я письменно извинился бы пред ним.

– Как, просить извинения? *Fi done*, [71] мсье Старославский! Письмо ваше он сохранит как факт; он будет гордиться им.

– Моим письмом, графиня?

– Извинением...

– В невозможности быть его посаженным отцом?

– Посаженым отцом Авдея Афанасьича?

– Конечно.

– Вы, вы, мсье Старославский?

– Я, графиня; но тут по крайней мере, надеюсь, нет ничего удивительного?

– У вашего злейшего врага?

– Но я говорю не про поэта Купера.

– Все равно, про друга его, про человека, разделяющего и жажду мести, и ненависть родственника моего к вам.

– Не думаю, графиня, потому что несколько дней назад Авдей Афанасьич письменно просил моего посредничества в деле, от которого зависело все будущее его счастье, и дело это я устроил.

– Оно не тайна?

– Нимало, графиня: я привез согласие одной прекрасной девушки на брак ее с Авдеем Афанасьичем.

– То есть дочери мещанки.

– Вы знаете?

– Я слышала о живом участии вашем, мсье Старославский, во всем, что касалось до этой девушки, и о тайном отъезде ее в Москву.

– Все слышанное вами истина, и я тем более доволен решительностью моих строгих мер, что меры эти увенчались полным успехом.

– Но права ваши на участие? – спросила я, лукаво улыбаясь.

– Основаны они, графиня, на пристрастии покойного деда, моего опекуна, к тем мальчи-

кам, о которых как-то раз я говорил вам и которые – родные братья девушке, дочери той же сердитой ключницы, моей неприятельницы.

Скоропостижная кончина старика, вероятно, помешала ему обеспечить своих любимцев, и всем наследством воспользовался я один. Ничтожное же участие мое – малое возмездие за их потери...

Я не могла выдержать, *сhige amie*, и передала Старославскому слова и заключение о нем Купера. В настоящую минуту мне нужна была жертва, и пусть же ею будет поэт.

Старославский улыбнулся и тотчас же переменил разговор. Признаюсь тебе, *Sophie*, уважение мое к этому человеку не только удесятерилось, но сделалось очень похожим на что-то выше этого чувства.

Встретясь в столовой с поэтом, Старославский, как и всегда, протянул ему руку: но рука эта как бы обожгла Купера – так смущен и так смешон был поэт! Антонина, несчастная Антонина, прошла во время этого обеда через все сильные ощущения; лицо ее принимало краски всех цветов и от белой лилии мгновенно

венно переходило в пунцовый розан каждый раз, когда Старославский обращался к ней; заметно было, что кузина, отвечая ему, приискивала в уме своем средство уколоть и меня и его, и средство это приискала она наконец.

– Когда же, мсье Старославский, пригласите вы нас в Грустный Стан? Nathalie рассказывала о нем такие чудеса, что не видать их считаем мы большим лишением, – сказала Антонина так громко, чтоб все ее слышали.

– Но разве графиня была в Грустном Стане? – спросил Купер, бросив на меня многозначительный взгляд. – И не пригласить нас – это дурно, очень дурно, – прибавил он, перенося тот же взгляд на Старославского.

– Вы сами лишили меня на то всякого права, – отвечал Старославский Куперу.

– Чем же, мсье Старославский?

– Тем, что, простирая прогулки свои до самой усадьбы моей, никогда не заглянули в нее, даже, если не ошибаюсь, в тот день, когда графиня сделала Грустному Стану честь своим посещением, грум мой повстречал вас в окрестностях и крайне перепугал меня, утверждая, что с вами...

– Да, да, точно, – перебил поспешно поэт, – мне помнится, в тот раз лошадь сбилась с тропинки и чуть не завязла в болоте.

– Положим, случилось это в тот раз; ну, а в другие поездки, мсье Купер? Вы так часто прогуливаетесь...

Поэт покраснел до ушей; он не мог не заметить всеобщей улыбки.

Но довольно о Купере и Грюковских вообще. Ночь была интереснее, а развязка, сниге Sophie... а развязка!.. Но, ради бога, не читай ее прежде всего прочего, потому что, может быть, обстоятельства, предшествовавшие ночи, хотя несколько оправдают меня в глазах твоих.

С закатом солнца явился и Авдей Афанасьич. Встреча его с Старославским не удивила только самого Старославского, отца и меня; зрачки же всех прочих расширились неимоверно; я внутренно торжествовала, смотря на эти расширенные зрачки. Авдей Афанасьич извинился перед соседом в чем-то, чего я не расслышала, потом благодарил его, и даже три раза обнял и поцеловал. Но какое дело до Авдея Афанасьича? Ночь интереснее,

повторяю тебе, Sophie... Но как это глупо, когда вспомнишь!

Мы вышли по окончании обеда на балкон; небо начинало уже покрываться тучами, солнце скрылось, и воздух сделался прохладнее.

– Как жаль, что будет дождь! – сказала Антонина, – иначе я предложила бы, кому не страшно, встретить ночь в лесу.

– Я покорный слуга, – отвечал Авдей Афанасьич, – но вряд ли вы пойдете даже без дождя.

– Конечно, пойду.

– Нет, не пойдете.

– Хоть об заклад, пойду.

– Пуд конфект! – продолжал толстый гость, протягивая Антонине руку, которую та пожалала.

– И мы пойдем с вами. Не правда ли, тамап, что и вы пойдете? – закричала Елена и прочие сестры.

На это Агафоклея Анастасьевна не изъявила своего согласия, то есть за себя, но дочерям идти не запретила.

До ночи время прошло медленно; когда же

смерклось, все без исключения стали поглядывать друг на друга с неизъяснимым беспокойством; сам папа часто подходил к часам и как бы считал минуты. Пробыло одиннадцать, и Авдей Афанасьич напомнил Антонине о закладе.

– Извольте, только не в лес, не в самый лес... а... в аллею... – отвечала кузина.

– Это не все равно! – возразил гость.

– Нет, батюшка, я в лес детей не пущу, воля ваша! – воскликнула Агафоклея Анастасьевна, – и в сад ходить незачем.

– О, нет, тамап! в сад можно, только бы не в лес.

Все кузины запрыгали и запищали около матери, которая, после долгих переговоров с Авдеем Афанасьичем, наконец склонилась на детские просьбы и поручила детей покровительству его и Купера.

Кузины ушли; Агафоклея Анастасьевна под предлогом зубной боли удалилась в свою комнату, а папа, дав слово возвратиться к полуночи, отправился по направлению к плотине; мы с Старославским остались на балконе вдвоем.

– Неужели вы серьезно ожидаете чего-нибудь необыкновенного, мсье Старославский, и верите всем этим вздорам? – спросила я его, и, признаюсь тебе, спросила единственно для того, чтоб отрицательным ответом Старославского уничтожить свой собственный страх.

– Месяц тому назад, графиня, я улыбнулся бы вопросу вашему, но теперь избави бог меня от малейшего сомнения, – отвечал он серьезно.

– Это почему?

– Повторяю, что слову вашему верю.

– И вы решились бы воспользоваться моим словом?

– Со слезами радости, графиня.

– Не верю.

– Даю вам честное слово!

– Но что же называете вы самолюбием, мсье Старославский?

– Во мне занимает оно второе место, а первое...

– Берегитесь быть похожим на Купера: он сегодня утром говорил мне почти то же.

– Права наши на вас, графиня, не одинаковы.

– Опять слово мое?

– А с ним вся моя будущность!

– Довольно! Еще четверть часа – и я свободна. Поговорим о чем-нибудь другом, мсье Старославский.

– С удовольствием.

– Вы приедете на зиму в Петербург, не правда ли?

– Почему же не в Париж?

– А разве вы имеете намерение ехать за границу?

– Но, мне кажется, графиня, таково было желание ваше.

– Желание – да; но выполнение желания зависит не от меня.

– Я согласен, графиня.

– Мсье Старославский, вы неизлечимы! – Графиня, ваше слово!

– Опять слово, какая тоска!..

– Вы берете его назад?

– Не нужно! Еще пять минут, только пять – и оно уничтожено, – отвечала я Старославскому, взглянув на часы.

– Менее, графиня; у меня хронометр: и не пять, а полминуты.

– Тем лучше.

– О, конечно, не для вас, может быть, но для меня! – воскликнул он с такою улыбкой, которой я никогда не забуду.

– Вы хотите обмануть, испугать меня? Ничего еще нет и не будет, я уверена.

– Так слушайте же, графиня! – И Старославский, взяв меня за руку, перевел к другому концу балкона. Я трепетала невольно, идя за ним; но в этот самый миг, Sophie, явственно, как бы подле нас, раздался вдруг какой-то неопределенный гул, но гул ужасный!

– Это ветер, – проговорила я, – это просто ветер!

Старославский указал молча на деревья; листья не шевелились на них, но гул делался все явственнее; в это же время слышались металлические правильные удары; я успокоилась: удары долетали до нас из залы и на двенадцатом часу умолкли; но тут... нет, Sophie, описание мое не передаст тебе ни ужаса, ни страха, которые выносить могут только самые крепкие или слабые натуры... Не постигаю, как я не умерла в эту страшную минуту! Мне вдруг слышалось нечто вроде воя

собак; «не может быть», – говорила я сама себе, но вой превратился в рев; потом страшный удар, громкий, пронзительный хохот и заунывный звон... но не стенных часов залы, а звон нескольких колоколов... Этого было достаточно, очень достаточно, чтоб лишить меня всех чувств. Помнится, что кто-то произнес мое имя; мне даже казалось, что к первому голосу присоединились еще голоса...

Антонина! бедная Антонина! не то же ли самое случилось с тобою? вследствие других причин, это правда; но результат был такой же: ты упала в обморок, а я!.. я раскрыла глаза уже не на балконе, а в гостиной, не в кругу своей семьи и одного Старославского, а при десяти посторонних свидетелях!

– Слово ваше, графиня? – были первые слова, долетевшие до моего слуха: их произнес Старославский.

– Но страшное явление не могло не быть сном? – проговорила я, все еще прислушиваясь.

– Увы, далеко не сон! – со вздохом отвечал отец, – и слово, данное тобою Старославскому, я подтверждаю.

– В таком случае, вот рука моя; она ваша, мсье Старославский, – сказала я торжественно, – и да исполнится легенда, прекратив навсегда то, что слышали мы в эту ночь.

– А для большей верности, Nathalie, – прибавил отец, смеясь, – обяжи мужа не тревожить более Днепра, а главное, не строить никогда мельниц! – Вообрази, та шиге, что страшное явление было не что иное, как прорванная днепровская плотина; вой собак был только воем стаи Авдея Афанасьича; звон – звоном набата, а пронзительный смех-пренатуральным смехом Жозефа над машинистом.

Верь мне, что, вспоминая обо всем этом, я умерла бы от стыда и отчаяния, если бы не любила Старославского так, как люблю его теперь... Бедная Антонина!..

ПРИМЕЧАНИЯ

Повесть впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» (1852, № 4–5).

Интерес Вонлярлярского к роли легенд и преданий в жизни общества, попытка вскрыть рациональную их природу не были замечены критиками, порицавшими чрезмерную запутанность интриги и обилие случайностей, из которых складывается сюжет «Ночи на 28-е сентября». Мнение П. И. Небольсина, считавшего что «повесть задумана без гордиевых узлов, ведена просто, естественно, эффектов в ней нет» (Библиотека для чтения, 1852, № 6, отд. 7, с. 183), звучало одиноко и вряд ли было справедливо. Нельзя полностью согласиться и с другим крайним суждением, высказанным В. Р. Зотовым: «Читатели наши видят, на каком шатком основании построена вся эта история, как неестественны в ней большая часть лиц и событий и не смотря на то, повесть все-таки читается не без удовольствия» (Пантеон, 1852, № 6, отд. 8, с. 5). Связь между событиями в «Ночи...» действительно иной раз отзывается натяжкой, но рельефная

жизненность действующих лиц повести и реалистичность многих ее описаний засвидетельствованы современниками. Так, не совсем довольный интригой повести, Е. Н. Эдельсон все же считал своим долгом отметить: «Изображает ли г. Вонлярлярский мысли и чувства девушки, только что начавшей жить <...>,— он часто попадает на такие счастливые выражения, что так и кажется, будто говорит не автор от себя, а действительно молодая, знатная, неопытная, но острая девушка. Изображает ли он легкого, живого и довольно пустого, но доброго француза, который хоть сейчас готов на край света и тотчас же устроится там, найдет и деятельность и удовольствия, — вы видите, что автор видал и наблюдал немало французов; описывает ли он наконец, как русские мужички прудят плотину, — заметно, что и это дело не незнакомо автору, и здесь он подметил живые и верные черты» (Москвитянин, 1852, № 11, отд. 5, с. 133). Этот же критик указал на самый серьезный недостаток повести (ответственность за который должна, впрочем, разделить с писателем эпоха цензурного террора

1848–1854 гг.). «Недостаток заключается в слишком узкой сфере комизма, который казнит почти исключительно отсутствие светской образованности и грубые провинциальные привычки. <...>...желательно бы было, чтобы вопросы в нашей литературе брались посерьезнее и казнилось нечто действительно комическое. Неужели автору, по всем приметам, так много выдавшему, не попадалось в жизни чего-нибудь истинно заслуживающего осмеяния?» (там же, с. 134). Несмотря на перечисленные недостатки, «Ночь на 28-е сентября» имела большой успех. «Она понравилась всем; в ней едва ли не в первый раз заговорила светская девушка по-русски, и заговорила прекрасно» (Московские ведомости, 1853, № 4, 8 янв., Лит. отдел, с. 42). И. И. Пакаев включил «Ночь на 28-е сентября» в число самых замечательных литературных явлений 1852 года (Современник, 1853, № 1, отд. 6, с. 105), повесть была переведена на немецкий (1853) и французский (1859; перевод Кс. Мармье) языки.

С. 187. *A la mal content* – см. прим. к с. 405.

С. 188. *Елагин остров* – излюбленное высшей петербургской аристократией дачное ме-

СТО.

Гласе – шелковая блестящая ткань.

С. 190. *Польский королевич Владислав признан был в Москве царем русским...* – Это произошло в феврале 1610 года.

...Сигизмунд осадил Смоленск... – имеется в виду двадцатимесячная осада города войсками польского короля Сигизмунда III (отца упомянутого выше Владислава IV) в 1609–1611 гг.

С. 193. *Редова* – богемский танец.

С. 194. *В 1812 году...* – Приведенные ниже сведения пользовались большим доверием в семье Вонлярлярских, многие представители которой занимались поисками брошенных французами ценностей (см.: Русская старина, 1910, № 4, с. 45–47)

Фура – большая длинная телега для кладки.

С. 198. *Аффектированы* – повышенно-эмоциональны.

...тридцатилетний брюнет с лицом молочного цвета... – В черновой рукописи находится несколько иной портрет Купера. «...24-летний юноша, белокурый в завитках, с серебряною серьгою в ухе и черными зубами.

«...» Сравнить его с лакеем порядочного дому нельзя: он хуже; с крестьянином опять нельзя: он во сто крат хуже; одним словом, кузен мой Купер Семенович почти также неблагопристойно дурен, как бывают ими те *jeune premiers* «первые любовники, – *фр.*» русских театров, которые думают, что они очень хороши, – помнишь ли, та *сhige*, в пьесах, даваемых перед балетами в Москве? Купер носит красное белье, такие же брыжжи; на руках кольца. Любимейшею забавою его заставлять краснеть сестер, нашептывая им часто, верно, какую-нибудь неблагопристойность на ухо. Ходит он с согнутыми коленками, с приподнятыми плечами и выдающеюся вперед головою» (ГАСО, ф. 1313, оп. 2, ед. хр. 11, к. 20 об. 21).

С. 205. *Буфф* – здесь: шут, клоун.

«О чем шумите вы, народные витии?» – Начало пушкинского стихотворения «Клеветникам России» (1831), которое «приобрело особую актуальность после революционных событий 1848–1849 гг. в Европе» (комментарий Б. Л. Бессонова в кн.: Некрасов Н. А. Поли, собр. соч... т. 10, кн. 2, Л., 1985, с. 283). Застав-

для Купера продекламировать это произведение, Вонлярлярский искусно намекает на консерватизм воззрений и чтеца и неистово аплодирующей аудитории. Отметим анахронизм (см. также ниже комментарий к словам «Низамская война») – действие повести происходит в 1845 г., (ср. с. 195 наст. издания).

Экзажерация – преувеличение (от фр. exageration).

С. 209. *Крестовский остров* – излюбленное место прогулок петербуржцев.

С. 214. *Адонис* – ставшее нарицательным имя отличавшегося необыкновенной красотой юноши из античного мифа.

С. 215. «*Grève*» – популярная мелодия из оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол» (1830).

«*Низамская война*» – роман французского писателя Жозефа Мери (1797–1865), опубликованный в 1843 г. в журнале и по журнальной публикации переведенный на русский язык (Репертуар и пантеон, 1844, № 12; 1845, № 1). Отдельное издание вышло в Париже лишь в 1847 г. (напомним, что действие «Ночи на 28-е сентября» происходит в 1845 г.).

Туги (или душиатели) – члены тайной орга-

низации профессиональных убийц, поклонявшиеся богине уничтожения Кали, которая, по их мнению, возложила на них обязанность неустанно сокращать численность земного населения. В индийском княжестве Хайдарабад, где разворачивается действие «Низамской войны», туги были особенно многочисленны и могущественны.

Аринда – действующее лицо романа Мери, дочь богача (набоба); в отличие от встреченной Купером купчихи обладала весьма привлекательной внешностью.

С. 218. *Грум* – слуга, сопровождающий верхом всадника или едущий на козлах экипажа.

Тильбюри – легкий двухколесный экипаж.

С. 220. *Двусветный* – имеющий два ряда окон.

Фреско (фреска) – живопись водяными красками по сырой штукатурке.

С. 228. *Фактор* – посредник, комиссионер.

С. 230–231... *Но минул год, и в день поминовения матери...* – Далее Вонлярлярский допускает неточность: два года подряд одно и то же число одного и того же месяца не могло приходиться на четверг.

С. 233. ...пожертвовавшего целые три года... – срок дворянской службы по выборам.

С. 234. *Фижмы* – широкий каркас из китового уса, надевавшийся под юбку для придания пышности фигуре.

С. 235. *Фраскати* – небольшой город в окрестностях Рима, жительницы которого славились красотой своих волос. Ср. в мемуарном очерке Тургенева «Поездка в Альбано и Фраскати» (1861): «...И опять мелькнули перед нами эти смоляные тяжелые волосы, эти блестящие глаза и зубы – все эти черты, немного крупные вблизи, но с неподражаемым отпечатком величия, простоты и какой-то дикой грации...» (Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти тт., т. 10. М., 1956, с. 342).

С. 238. *Ревель* – ныне Таллин.

Шамуни (Шамони) – швейцарский курорт, славящийся своим серным источником (ныне территория Франции).

С. 240...*несколько паев по откупам*... – доленое участие, в предоставляемом государством нескольким частным лицам праве монопольной продажи чего-либо (вероятнее всего, имеются в виду винные откупа).

С. 244...о так называемой умирающей природе. – Может быть, это отголосок пушкинского стихотворения «Осень» (1833) (ср.: «...Люблю я пышное природы увяданье...»).

С. 247. *Мадригал* – краткое стихотворение, восхваляющее кого-нибудь (здесь в переносном смысле).

С. 250. «*Journal des Enfants*» – издававшийся в Париже детский журнал.

С. 251. *Купсек* – роскошное иллюстрированное издание.

Церковь святого Петра – всемирно известный памятник архитектуры (Рим, Ватикан).

Конфиденция – доверительная беседа.

С. 256. *Поэтически-перфидно* – ложно-поэтически (от фр. perfide).

С. 259. *Дружба, ты все на земле! ты частица небесного блаженства!..* – А. С. Пушкин так отзывался о стиле эпигонов сентиментализма, унаследованном представителями «массового» романтизма, на чьих произведениях «замешана» речь Антонины и Купера: «Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.» (Пушкин. Полн. собр. соч., т.

11, «М.-Л.», 1949, с. 18).

С. 260. *Калиостро* Александр де, граф (настоящее имя – Дж. Бальзамо, 1743–1795) – итальянский авантюрист, выдававший себя за мага и чародея.

Сен-Жермен, граф (ум. 1784) – ему молва приписывала ряд сверхъестественных свойств.

С. 262. ...*природа, как говорится, смотрела настоящим сентябрем...* – Имеется в виду присловье «Август смотрит сентябрем».

...*посиневшие амазонки...* – Здесь слово «амазонки» шутливо означает мифических воинственных женщин-всадниц (в переносном значении).

С. 265. *Пароксизм* – приступ.

С. 272. *Отъёмнички* – лесистые острова и островки.

Выжелятник – старший псарь (на охоте водит стаю, напускает и сзывает ее).

Дозрил – осмотрел.

С. 273. *Рассадник* – питомник.

...*как в нарок...* – как нарочно.

С. 276. *Фабюлезные времена* – древние, сказочные.

Сатиры – в античной мифологии низшие божества, демоны плодородия; в изображениях им придавались звериные черты – покрытое шерстью тело, копыта, хвост.

С. 278. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский писатель, создатель не выдержавшего научной критики учения о «физиогномике», т. е. о способах узнавать характер людей по их наружности.

Сделал глिसаду – поскользнулся.

С. 280. *Се-дур* (C-dur) – до мажор.

«*Солома*» – имеется в виду популярный романс на слова П. А. Межакова «Соломка»; музыка А. А. Алябьева (1832) или Н. С. Титова (1839).

«*Ты не поверишь, как ты мила*» – чрезвычайно популярный в 1840-е годы цыганский романс, написанный (или только аранжированный) композитором Петром П. Булаховым (см.: Штейнпресс Б., Булаховы. – Музыкальная жизнь, 1963, № 18, с. 18).

«*Пловцы*» («По реке вниз, по широкой...») – песня А. Е. Варламова на слова А. В. Тимофеева (1838). Ср. уездных барышень, описанных В. А. Соллогубом (Избранная проза. М., 1983, с.

260), в повести «Тарантас»: «Все они, по природному внушению, поют варламовские романсы...»

С. 282. *Завань* (завонь) – залив реки.

С. 283. *Ижора* – вторая от Петербурга почтовая станция по шоссе, связывавшему столицу с Москвой; традиционное место проводов и встреч.

Примечания

1

Есть от чего сойти с ума (фр.).

[^^^]

2

дорогая моя! (фр.)

[^^^]

3

на манер «недовольного» (фр.).

[^^^]

4

это прекрасно, моя дорогая (фр.).

[^^^]

дурного тона (фр.).

[^^^]

6

по всякому поводу (фр.).

[^^^]

милая подруга (фр.).

[^^^]

8

Я в этом ничего не понимаю (фр.).

[^^^]

это мало доступно моему пониманию (фр.).

[^^^]

Что за люди! (фр.)

[^^^]

Здравствуйте, хозяин! (фр.)

[^^^]

дорогая Софи (фр.).

[^^^]

репликами (фр.).

[^^^]

но ведь это ужасно! (фр.)

[^^^]

благопристойности (фр.).

[^^^]

ангел мой (фр.).

[^^^]

Боже! можно ли быть глупым до такой степени! (фр)

[^^^]

Нет, так меня уж больше не проведешь! (фр.)

[^^^]

Я чувствую себя разбитой (фр.).

[^^^]

как отказать? (фр.)

[^^^]

это совершенно необычное существо (фр.).

[^^^]

«мой ученый» (фр.).

[^^^]

«красавец» (фр.).

[^^^]

небеленый батист (фр.).

[^^^]

дядюшка (фр).

[^^^]

под молочницу (фр.).

[^^^]

старый разбойник... старое чудовище (фр.).

[^^^]

«мой генерал»... «моя хозяйка»... «мой Адонис»... «барышня с глазами-тюльпанами»... «ученый»... «простонародье» (фр.).

[^^^]

«Низамская война» (фр.).

[^^^]

30

в ухудшенном виде? (фр.).

[^^^]

Не будь же чопорна, подруга моя (фр.).

[^^^]

Я вас слушаю, Поль! (фр.)

[^^^]

Я совсем сошла с ума, милая подруга (фр.).

[^^^]

старинного саксонского фарфора (фр.).

[^^^]

уголок, убежище (фр.).

[^^^]

Примечайте, моя дорогая! (фр.)

[^^^]

Хватит философии (фр.).

[^^^]

Полно, хозяйка, не волнуйтесь из-за этого шу-
та Адониса; не прогневайтесь, но от этого я не
стал бы лечить и своего пса, а не то что... (фр.)

[^^^]

Я хотел бы сказать пару слов генералу (фр.).

[^^^]

мой кузен (фр.).

[^^^]

Но что все-таки за человек этот Старославский? (фр.)

[^^^]

Всему он помеха! (фр.)

[^^^]

моя кузина (фр.).

[^^^]

«Журнал для детей» (фр.).

[^^^]

примерно (фр.).

[^^^]

с глазу на глаз, наедине (фр.).

[^^^]

легкое блюдо, подаваемое перед десертом
(фр.).

[^^^]

с меня довольно (фр.).

[^^^]

Представляю, какую гримасу скорчит моя подруга нежная Антонина своей будущей соседке госпоже Старославской (фр.).

[^^^]

По-видимому, старик насмехается над ученым, барышня (фр.).

[^^^]

увеселительная прогулка (фр.).

[^^^]

Это ничего? (фр.)

[^^^]

Такова обратная сторона медали! (фр.)

[^^^]

дорогая моя (ит.).

[^^^]

Что ж, покоримся и продолжим! (фр.)

[^^^]

Благодарю (фр.).

[^^^]

на военный манер (фр.).

[^^^]

Господи боже мой! Это невообразимо! (фр.)

[^^^]

Потом, потом (фр.).

[^^^]

Но я тебя уверяю... но я говорю тебе, что да!
(фр.)

[^^^]

В насмешку! (фр.)

[^^^]

Что вам угодно? (фр.)

[^^^]

Извините, хозяйка, я пришел предупредить вас, что через час начнется борьба (фр.).

[^^^]

Какая борьба? (фр.)

[^^^]

Борьба ученого с чудовищем (фр).

[^^^]

Хорошо смеется тот, кто смеется последним!
(фр.)

[^^^]

припев (фр.).

[^^^]

это ужасное зрелище! (фр.)

[^^^]

Боже мой! Как я буду счастлива! (фр.)

[^^^]

Софи, милый ангел! Посочувствуй мне хоть
немного! (фр.)

[^^^]

Вздор (фр.).

[^^^]